



Штирлиц

Юлиан Семенов

Бомба для председателя

Семенов Ю. С.

Бомба для председателя / Ю. С. Семенов — — (Штирлиц)

В произведении заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии РСФСР Юлиана Семенова «Бомба для председателя», разоблачается опасная для дела мира деятельность монополистических концернов. Главный герой романа – дзержинец-интернационалист М. М. Исаев (Штирлиц).

Содержание

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. 1967, август	5
1	5
2	7
3	8
ЗАКОН И ЛИРА	10
1	10
2	12
3	19
ТРУДНЫЕ ДНИ ДОРНБРОКА-ОТЦА	24
ИСАЕВ	39
1	39
2	42
3	44
4	45
5	47
6	49
7	51
8	52
9	53
ДОРНБРОК ПРИ АДЕНАУЭРЕ	54
1	54
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Юлиан Семенов

Бомба для председателя

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. 1967, август

1

Его бил озноб. Ночь была теплая, но его все равно бил озноб. Он то и дело оглядывался; улица была пустынной, ни одного такси, а до Чек Пойнт Чарли оставалось еще километра два по набережной, через мост, мимо бетонно-стеклянного здания концерна Шпрингера, на крыше которого мертвенно высвечивались буквы, слагавшиеся в слова: «Выпуск последних известий». Был уже второй час ночи – яркие, голубоватые неоновые фонари в черном небе казались осколками льда. Листва деревьев, подсвеченная этим холодным светом, была жирной, как бы сделанной в театральной мастерской из картона, выкрашенного темно-зеленой масляной краской.

Он понял: его бил озноб не оттого, что он сейчас до смешного случайно узнал, и не потому, что он торопился в Чек Пойнт Чарли, чтобы скорее оказаться на той стороне; его бил озноб потому, что сейчас он впервые в жизни ощутил страх, и не просто страх, который знаком каждому, но особый – страх перед враждебностью всего окружающего. Все сейчас казалось ему враждебным, даже жирные листья платанов. Особенно страшно становилось ему, когда он видел черную воду канала. Льдистый свет фонарей в этой черной, жирной воде тоже казался жирным, и эта противоестественность льдинок и жира, увязанная в естественное единство провалом канала, пугала его сейчас больше всего.

«Хоть бы в одном окне был свет, – думал он, – я бы позвонил. Но он же сам мне сказал, что в полицию звонить бессмысленно. А может, я просто накручиваю себя... Насмотрелся детektivов... И трясусь как осиновый лист. Надо переключиться, и все пройдет, и этот озноб тоже пройдет, и я смогу спокойно дойти до границы. Нельзя идти с этим гадостным чувством ужаса. Но повинен в этом только я. Он лишь довел меня до этого состояния. Сам трясся, и меня тоже стало трясти. Да, на что я хотел переключиться? На осень. Нет, на осиновые листья. Почему осина? Это, наверное, потому, что осиновые листья становятся красными осенью и жестяно шевелятся на ветру, но все равно они не кажутся в наших лесах такими театральными, как эти жирные платаны. Смешно: „Отчего вы так покраснели, уважаемый лист осины?“ Просто по-чеховски: „многоуважаемый шкаф“. Вам стыдно, лист осины? Вам стыдно того, что скоро вы опадете, исчезнете под снегом, чтобы через год стать землей? Разве это так страшно – стать землей? Хватит об этих осинах, – одернул он себя. – Хватит!»

Он внезапно почувствовал, как прошел озноб, и тело уже не была судорожная, частая дрожь.

«Вот и все, – сказал он себе. – Просто любой нормальный человек боится одиночества в ночи. Для этого, наверное, и женились первобытные, чтобы не страшно было спать одному в лесу. И старикам вдвоем спать не так страшно, когда каждая ночь может оказаться последней в жизни».

Он достал пачку сигарет и остановился. Закурил, несколько раз чиркнув отсыревшими спичками. «Отмокли в кармане, – отметил он, – это я так вспотел со страху... Завтра надо купить зажигалку».

Он услышал сзади шум автомобиля. Вздрыгнув, почувствовал, как ослабели ноги. И снова все тело покрылось холодной испариной.

«Сейчас закричу, – успел подумать он. – Разобью стекло в этом доме и закричу. Хотя какой это дом? Руины... Они меня здесь и подстерегли».

Он обернулся: по улице катило такси. Над крышей горел фонарик: «Свободен».

Он попробовал шагнуть на мостовую, чтобы остановить машину, но почувствовал, что ноги его не слушаются: они стали ватными после того, как он услышал мотор у себя за спиной в этом мертвом ночном городе, среди руин, жирных листьев и черной воды канала.

«Я думал, что будет нестись какой-нибудь гоночный автомобиль с автоматами в открытых окнах. А это просто такси. Один шофер. И никого больше».

И, облегченно вздохнув, он вышел на мостовую и поднял руку.

– Добрый вечер, господин, – сказал таксист, распахнув дверцу.

– Чек Пойнт Чарли, пожалуйста.

– Чек Пойнт, – повторил шофер. – Без подружки нет смысла бродить, а?

«Не объяснять же ему, что у меня не было денег на такси из центра до границы, а метро уже закрылось», – подумал он и согласно кивнул головой:

– Да, без подружки, конечно, нет смысла гулять по городу.

– Нужна девочка?

– Нет, спасибо.

Он испытывал сейчас громадное, расслабленное, веселое и легкое счастье: так бывает, когда опасность, причем не очевидная (с ней легче бороться), а та, которую предугадываешь, к встрече с которой изнурительно готовишься, уже позади.

Шофер переключил свой зеленый фонарик на красный и сказал в маленький микрофон – такие сейчас установлены у большинства западноберлинских таксистов:

– Заказ на зональную границу. Чек Пойнт Чарли. У вас никого нет в том районе, чтобы взять в город?

Сквозь писк и треск диспетчерской службы низкий мужской голос ответил:

– Сейчас запросим.

Шофер пояснил:

– Надо кого-нибудь подхватить в центр, чтобы не тратить зря бензин.

– Я понимаю. Хотите сигарету?

– С удовольствием. Нет, спасибо, я прикурю сам. Яркая вспышка спички – можно вмазать в столб. У меня раз так было.

Он ловко прикурил от зажигалки, затянулся и сказал:

– Я всегда курю «ЛМ», но ваши, пожалуй, покрепче.

2

Айсман потушил сигарету и посмотрел на Вальтера. Тот спросил:

– Будем варить кашу?

– А что делать? Это только в книжках у Маклина добрые английские диверсанты запирают наших солдат в подвалы, пока рвут форт. Этого парня не запрешь в подвал... Он теперь знает все.

– Мало ли про нас говорят. Мы привыкли. Пусть поболтают еще...

– Наш выродок сказал ему про Лима. И про нас. И про штаб-квартиру. И про полигон...

– Будить хозяина?

– Он не спит...

– Тогда давай приказ...

– Нет, – задумчиво ответил Айсман, но эта задумчивость не помешала ему стремительно набрать номер, подключить к телефону диктофон и сказать в трубку: – Парень уходит. Как быть? – Он внимательно выслушал ответ и сказал: – Ясно. Хорошо.

Вальтер посмотрел на Айсмана, осторожно положившего трубку на рычаг, и спросил:

– Что он сказал?

– Передай шоферу, что парня выпускать нельзя.

Вальтер взял микрофон и перевел кнопку на отметку «Связь».

В микрофоне таксиста зашуршало, и сквозь таинственные помехи спящего города низкий мужской голос пророкотал:

– Возьмите адрес: Нойкельн, Шубертштрассе, пять.

– Вас понял, благодарю, – ответил шофер и подмигнул пассажиру: – Все в порядке, я обеспечен клиентом. Пожалуйста, если вас не затруднит, откройте сзади окно: очень душно, а кондиционер поставить – нет денег...

– Повернуть ручку вниз?

– Нет, наоборот, вверх. Да вы станьте на сиденье коленями, так не дотянетесь.

Человек стал на колени и потянулся к белой, сверкающей хромом ручке. Именно эта сверкающая белая ручка на красной кожаной обивке была тем последним, что он видел в жизни, – пуля, выпущенная шофером из бесшумного пистолета, снесла ему полчерепа, и рыжий мозг забрызгал стекло, которое через какое-то мгновение стало черно-красным от крови.

Пуля, пройдя сквозь дверцу сверху вниз, потому что шоферу пришлось чуть привстать, чтобы удобнее было стрелять в затылок пассажира, срикошетила о люк канализации и разрезала угол окна в квартире фрау Шмидт. Ударившись о металлический держатель люстры, пуля разбила экран телевизора – уже на самом излете.

Фрау Шмидт в это время снился сон, будто она во время бомбежки потеряла карточки на маргарин и крупу. Она закричала и проснулась. Ее дочь Лотта прибежала к ней в спальню. Дочь просила ее остаться еще на неделю в Гамбурге: обстановка «во фронтовом городе» дурно отражалась на нервном состоянии матушки, где та жила совсем одна, в большой квартире, далеко от центра, на берегу Брюггерканала – как раз в том месте, где только что был убит человек, считавший, что «переключиться» следует, настраиваясь воспоминаниями на осенний лес, в котором пламенеют осино́вые листья...

3

Гейнц Кроне любил печатать стоя, но в редакции не было бюро, на котором можно было бы установить машинку. Поэтому Кроне обычно устраивался на подоконнике.

В «Европейском центре» – самом высоком здании Западного Берлина, где помещался «Телеграф», были широкие дубовые подоконники, очень высокие, – можно было поставить машинку, рядом положить стопку бумаги, и еще оставалось место для книг и справочников.

Кроне допечатал страницу, закурил, вставил в машинку чистый лист и посмотрел в широкое, без рамы, окно. Город засыпал, и поэтому сине-неоновое освещение «Европейского центра» казалось тревожным и неживым.

«Его хорошо знают рабочие заводов в Ганновере, Дюссельдорфе, Бремене, Эссене и Гамбурге; несколько меньше он знаком сотрудникам вычислительных центров по автоматике и системам управления в Западной Берлине, Нюрнберге и Мюнхене; прессе о нем доподлинно известно лишь то, что было в свое время опубликовано оккупационными властями в 1946 году. С помощью его „мозгового треста“ сейчас точно дозируются сведения о том, что глава концерна демократичен, прост в обращении, неприхотлив в личной жизни (тратит на себя 13 марок в день, курит самые дешевые сигареты), любит Вагнера и Баха; читает Сименона и Жюль Верна и носит костюмы, купленные в универмаге, 52-й размер, 4-й рост. Однако все, что касается его дел, окружено плотной стеной тайны, кроме итоговой цифры: он владеет семью миллиардами марок. „Система безопасности“ концерна отработана на редкость тщательно. Одни считают это возможным потому, что концерн семейный, а не акционерный, следовательно, глава и хозяин практически бесконтролен во всех своих действиях и несет личную ответственность лишь перед законом. На наш взгляд, служба разведки в концерне столь точна потому, что организовали эту работу анонимы из бывшего IV отдела имперского управления безопасности. Напомним тем, кто рожден после 1945 года: IV управление РСХА в просторечье называлось во времена Гитлера короче и определеннее – гестапо.

Несмотря на то что начиная с 1952 года все связанное с деятельностью Фридриха Дорнброка окружено сочно выписанными «рождественскими мифами», ряд сведений нам все-таки удалось получить. Например, нам стало известно, что господин Дорнброк вел переговоры с баварским правительством о покупке той земли в Берхстенгадене, где стоял дом Гитлера. Г-ну Дорнброку отказали, но он сумел купить землю неподалеку, общей площадью восемь квадратных километров. Крестьяне в окружающих деревнях вскоре стали называть эту огороженную металлической соткой территорию «вулканом дракона», ибо в горное поместье провели большую шоссейную дорогу для грузовых автомашин, в камнях пробили гигантскую штольню и на водопаде была построена электростанция, мощность которой позволяла сделать вывод о ее целевом назначении. Взрыв, произошедший в штольне, и отсутствие каких-либо сведений о причинах взрыва, потрясшего – в прямом смысле – окрестности, позволяют считать «атомную версию» единственно разумной. Это очень напоминало подземные ядерные испытания. Представитель концерна сделал заявление для печати, в котором утверждал, что в штольне проводились работы по уточнению взаимодействия систем «центрифуги», предназначенной для получения урана «исключительно в мирных целях». Работы в «вулкане дракона» после этого прекратились, однако заводы концерна Дорнброка активно, с нарастанием выпускают жаропрочные металлы, ракетное топливо, электронную технику; в его исследовательских институтах отрабатываются новейшие системы управления и космической связи. Нас не может не волновать, где, в каком месте Федеративной Республики, на каком из своих заводов г-н Дорнброк продолжает работы по созданию «личной» атомной бомбы. Надо надеяться, что правительство канцлера Кизингера всерьез заинтересуется этим вопросом. Нас, во всяком случае, не устраивает утверждение статс-секретаря о том, что слухи о работе Дорнброка в области создания

«Н-бомбы» преувеличены, поскольку в ФРГ нет районов, где было бы возможно проведение испытаний ядерного оружия. Это утверждение и голословно и наивно».

Гейнц Кроне вычеркнул несколько прилагательных, прочитал статью еще раз и пошел к шеф-редактору «Телеграфа»: когда дело касалось концернов Флика, Дорнброка или Круппа, Кроне показывал свои материалы и директору издательства, и шеф-редактору газеты, чтобы вместе определить позицию на будущее – в случае, если последует судебный иск «о клевете и диффамации».

– К грозе, – сказал Кроне, входя к шеф-редактору. – Вы чувствуете, как парит? Вот смотрите, я, по-моему, недурно расправился с Дорнброком.

– Не надо с ним расправляться, – сказал шеф-редактор и протянул Кроне свежие листы с телетайпа. – Сейчас о нем нельзя печатать ничего, это будет слишком жестоко.

Кроне прочитал сообщение: «Как стало известно, болгарский интеллектуал Павел Кочев, стажировавшийся в Москве, в аспирантуре профессора Максима М. Исаева по теме „Концерт Дорнброка“, вчера обратился к властям Западного Берлина с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщил на пресс-конференции директор газеты „Курир“ Ленц».

– Ну и что? – удивился Кроне. – Какое это имеет отношение к моему материалу?

– Переверните страницу. Они у вас слиплись. Вы не то читали.

«Майор Гельтофф из полиции сообщил прессе, что на квартире кинорежиссера Люса, известного своими левыми убеждениями, только что обнаружен труп Ганса Фридриха Дорнброка, единственного наследника всех капиталов концерна».

ЗАКОН И ЛИРА

1

«Милый Паоло, ты – сволочь! Я три дня искал тебя, а только сегодня секретарша изволила сообщить мне, что ты улетел в Лондон и вернешься через неделю, когда я снова буду в Берлине. А ты мне сейчас нужен, как никто другой, потому что хоть и являешься свиньей, но хрюкаешь откровенно.

Я только что просмотрел отснятый материал, и стало мне так горестно, хоть воем вой. Что происходит со мной? Кто так хитро шутит – между тем, как возник замысел и пошла продукция, – кто путает, мешает, гадит?! А что такое «замысел»? Некоторые пишут конспекты и могут заранее рассказать свою будущую картину, до того как начнут снимать фильм. А я ничего не могу рассказать: какие-то странные видения рвут мою бедную голову, я слышу обрывки разговоров, вижу лица, чувствую возникновение интересных коллизий, а когда начинаю все это записывать и снимать – получается сухомырка, какое-то постыдное калькирование жизни.

Не зря сейчас искусство разделилось на два направления, почти абсолютно изолированные друг от друга. Первое – фактография, документалистика, точное следование правде, некое развитие Цвейга. Второе – «самовыворачивание», вроде Феллини, Антониони и Лелюша. Некоторые говорят о них: «Эти плюют на проблемы мира, на трагические вопросы, которые ставит наше время». Глупо. Если Феллини выворачивает себя, делая больно родным и друзьям, он приносит себя в жертву времени: «Смотрите, люди, вот я анатомировал себя во имя вашего благополучия! Смотрите внимательно, не повторяйте меня, а если хотите повторить, подумайте о том-то и том-то!» Другие утверждают: «Документ конечно же интереснее фантазий и страданий особи, подобной мне, во плоти и духе. Пусть уж будет голый факт – я сам стану думать о том, в какой мере это описываемое или снимаемое хорошо или плохо». Наверное, люди тянутся к строгой документалистике, оттого что им осточертели всякого рода диктаты: начиная со страхового агента, советующего не курить помногу, и кончая чиновником министерства иностранных дел, который «рекомендует» не посещать Ханой; людям надоело диктаторство писателя, навязывающего сюжет; законодателя мод, который меняет острые каблучки на толстые; критика, выносящего непререкаемый приговор о новом живописном вернисаже; премьер-министра, замораживающего зарплату. Все надоело, все! А ведь *все* в нашем мире продиктовано кем-то или чем-то, все загнано в рамки закона, беззакония, тирании, демократии, но все в рамках! Зачем же тогда творчество?

Я рванул из самовыворачивания в документалистику, но посреди дороги понял, что документалистика не дело художника, если он замахнулся на то, чтобы быть художником, а не человеком со специальностью «кинорежиссер»! И понял: надо обратно, к человеку, к себе самому, к тебе, ко всем нам...

Ладно. Поплакался, и будет. Когда я закончу эту картину о сегодняшнем «фронтовом городе», о том, как там благодушествуют генералы СС в том же Далеме, где жил Гиммлер, и о студентах, которые влачат полуголодное существование, бери меня на работу в свою рекламную контору: к старости буду обеспечен вполне пристойной пенсией.

Между прочим, сегодня мне попала статья о родителе нашего с тобой друга. Бедный Ганс! Он не в папу. Старый Дорнброк имеет зубы, а Ганс – дитя, и мне порой кажется, что он – само опровержение теории наследственности: так он непохож на своего отца. Он приходил ко мне пьяный, в ночь перед моим вылетом из Западного Берлина. Это был смешной и странный разговор. Если бы я не принял решения вернуться в кинематограф чувств, я бы, возможно, ухватился за его предложение. Он предложил мне сделать ленту о его концерне. Говорил о

трагедии, которая нас всех ждет, и обещал сказать мне такое, от чего содрогнется мир. Впрочем, это сейчас несущественно. Главное – принять решение. А я его принял. Мир устал от реальных проблем. Чувства вечны.

Да, можешь выразить «соболезнование». Мой «Нацизм в белых рубашках» получил очередную премию на фестивале в Мексике. А у нас о картине по-прежнему молчат, сволочи. Как воды в рот набрали. Я успокаиваю себя тем, что, значит, прижал кого-то. Но ведь честолюбие съедает! И денег от проката нет!»

2

– Мастер! – окликнул Люса его ассистент, заглянув в номер без стука. – Свет поставлен, актеров привезли, ждут вас.

– Хорошо. Иду. Спасибо.

Люс решил было дописать письмо после съемок, но понял, что работать ему предстоит всю ночь, утром придется кое-что поднять на улицах скрытой камерой, потом еще одна маленькая съемка – паренька, уехавшего из Западного Берлина, и сразу домой. Так что, решил Люс, дописывать ему будет некогда. Спустившись вниз, он попросил портье бросить конверт в почтовый ящик.

Сегодняшняя ночная съемка была назначена в баре отеля. Лестница, которая вела в бар, была покрыта люминесцентной краской, и Люс, спускаясь вниз, вдруг ощутил себя как в детстве, когда они играли в индейцев. Сочетание красного, синего и белого цветов всегда ассоциировалось в нем с кинокартинами об индейцах. До войны в Германии часто показывали американские картины об индейцах, сопровождая демонстрацию вступительными титрами о том, как янки угнетают коренное «арийское» население Америки.

...Актеров, которых привез ему ассистент, Люс не знал. Две женщины и два парня. «Наверное, из театра, – решил Люс. – Они слишком напряженно рассматривают камеру. В общем-то, хорошо, что их никто не знает. Мне и нужны такие люди в этой картине – никому не известные».

– Добрый вечер, господа, – сказал он, – извините, что я задержал вас.

– Добрый вечер, – нестройно ответили актеры.

«Черная девочка ничего, – отметил Люс. – Видимо, она подойдет больше остальных. Вторая слишком красива и чувственна. Ухоженная лошадь, а не женщина. Мужчины не очень-то годятся. Георга всегда тянет на „эталоны“. Обязательно, чтобы два метра, косая сажень в плечах и ослепительная улыбка. Такие мужики хороши в вестерне или в постели, у меня они будут диссонировать с отснятым материалом».

– Мой ассистент, – сказал Люс, – уже, по-видимому, изложил вкратце вашу задачу в сегодняшней съемке?

– Да.

В баре было сумрачно. После того как попробовали свет и ослепительные голубые софиты тысячекратно отразились в зеркалах, глаза с трудом привыкали к мраку. Люс решил было еще раз посмотреть, как поставлен свет, но Шварцман, его продюсер, был начинающим бизнесменом, денег у него было мало, и поэтому приходилось экономить и на электроэнергии, и на количестве отснятых дублей. Впрочем, Люс довольно легко переносил это, потому что Шварцман не влезал в съемки, не давал советов, как это обычно принято, и не просил взять на роль героини свою девку.

– И наш метод вам тоже известен? – спросил Люс актеров.

– Нет, мастер, – сказал за них Георг. – Я думал, что об этом лучше рассказать вам.

– Разумно. Я бы просил вас, коллеги, – Люс улыбнулся актерам своей внезапной обезоруживающей улыбкой, – забыть на время нашей сегодняшней совместной работы, что вы из театра. Мы снимаем фильм в некотором роде экспериментальный, фильм-поиск. У нас нет актеров. Собственно, те актеры, которые помогают нам в работе, – это просто-напросто наши единомышленники, товарищи по оружию. Сегодня в этом баре соберутся бабушки и старички из «ассоциации борьбы за чистоту нравов и святость любви». Это филиал нашей западноберлинской штаб-квартиры. Вы имеете возможность говорить с ними о том, что волнует вас, ваше поколение. Я не хочу готовить вас к съемкам, чтобы не было заданности, чтобы не поперла режиссура. Вы понимаете?

– Я понимаю, – первой откликнулась «лошадь» и обворожительно улыбнулась Люсу.

«Точно, – сказал он себе. – Я был уверен, что она откликнется первой. Почему красивые, ухоженные актрисы считают своим долгом переспать с режиссером? Наваждение какое-то...»

– Ну и прекрасно, – сказал Люс. – Представьте себе, пожалуйста, что я – старик из этой «ассоциации святой любви». Ничего звучит, а? Валяйте беседуйте со мной. Георг, дайте на несколько минут свет, и пусть приготовят звукозапись. Ну, – он обернулся к высокой красивой актрисе, – прошу вас.

– Скажите, вы любили только один раз в жизни? – спросила она с придыханием, чуть нагнувшись, чтобы Люсу была видна ее большая грудь в низком вырезе платья.

– Конечно. А вы?

– Я? – женщина растерялась.

– Да. Вы.

– А разве меня тоже будут спрашивать? Я думала, что мое дело – задавать вопросы, как во время телевизионных шоу.

– Нет, отчего же... Вам наверняка станут задавать вопросы, причем самые неожиданные.

Люс не хотел говорить актерам, что старики, которые соберутся здесь, совсем не такие нежные, розовые божьи одуванчики, какими они казались. Все мужчины в этой ассоциации в прошлом были активными членами НСДАП, и большинство из них работали в министерстве пропаганды и в партийной канцелярии Гесса и Бормана, занимаясь проблемой создания «новой морали» для тысячелетнего рейха. Люс задумал эту съемку довольно рискованно: он рассчитывал, что старики проведут свою «пропагандистскую работу», не встречая сопротивления со стороны актеров, которые в силу своей профессии «подыгрывают» на площадке партнеру, а не спорят с ним. Потом, думал Люс, когда старики кончат свои монологи, он подмонтирует хронику: он даст кадры, где были сняты эти старички в пору их молодости, когда они ратовали за чистую любовь арийцев, которым мешают претворять в жизнь их великие идеалы большевики, славяне, евреи и цыгане.

– Так, – сказал Люс, – хорошо. Начнем сначала? Простите, как вас зовут?

– Ингрид.

– Очень красивое имя, – улыбнулся Люс. – Итак, мой вопрос: «А разве вы...»

– Да-да, помню, – быстро ответила актриса.

«Готовилась, дуреха, – понял Люс, – все то время, пока меняли пленку в диктофоне, она мучительно готовилась к ответу».

– Я любила два раза, – сказала Ингрид.

– Вы убеждены в этом? Именно два раза? А не три?

– Именно два раза. Мой жених разбился на скачках, он был наездником. Я очень любила его. И сейчас я люблю человека, который похож на моего первого возлюбленного. Он так же благороден, чист, нежен...

– Может быть, все-таки, – настаивал Люс, – вы любили всего один раз – того, первого, который погиб? Может быть, вы и сейчас продолжаете любить его – в облике другого человека?

Актриса вздохнула и согласилась:

– Может быть, вы правы.

«Идиотка, – подумал Люс. – Ее нельзя оставлять в фильме. Я пушу ее на затравку, старики начнут торжествовать победу, и тогда уже мне придется взять у них пару интервью. Надо будет предупредить Георга, чтобы он снимал меня со спины, когда я отойду от камеры».

– Благодарю вас, Ингрид, – сказал Люс. – Все очень хорошо. Теперь попрошу вас, фрой-ляйн...

– Кристина Ульман.

– Пожалуйста, Кристи, – попросил Люс.

Худенькая, в длинном черном свитере и потрепанных джинсах, Кристина села напротив Люса, и глаза ее – длинные, черные – сощурились зло и выжидающе.

– Вы лжете, – сказала она, помедлив, – когда говорите нам о возвышенной, святой и чистой любви. Сейчас такой любви не может быть.

– Отчего? – спросил Люс и напрягся. Он почувствовал, что эта девочка может предложить схватку.

– Оттого, что ваше поколение убило любовь!

– Стоп! – сказал Люс. – Спасибо, Кристи! Дальше не надо. Сейчас мы стреляем вхолостую. Итак, коллеги, полная раскованность, вы – хозяева площадки, смело принимайте дискуссию, но не перебивайте собеседников, дайте им сказать то, что они хотят сказать, расположите их к себе. Мужчинам придется беседовать со старухами. Бабушки любят сентиментальность – помните об этом...

– Добрый вечер, дамы и господа, – первым начал высокий актер, – мое имя Клаус фон Хаффен. Мне хотелось бы задать несколько вопросов нашим дамам. Позвольте? – он чуть поклонился той старухе, которая была к нему ближе других.

– Пожалуйста, господин фон Хаффен.

– Ваше имя?

– Ильзе Легермайстер.

– Фрау Легермайстер, меня интересует только один вопрос, – говорил актер хорошо поставленным голосом, на настоящем «хохдойч».

Люс похолодел от счастья, прилипнув к камере: бабушка смотрела на двухметроворостого красавца с нескрываемым вожделением. Люс плечом оттер Георга от камеры и наехал трансфактором на лицо старухи.

Актер продолжал:

– Мой вопрос прост, и вы, вероятно, догадываетесь, каким он будет. Сколько раз в жизни вы любили?

– Один раз.

– Вы любили вашего мужа?

Старик, сидевший рядом с фрау Легермайстер, заулыбался, а старуха, не поворачиваясь к нему, словно бы прилипла взглядом к актеру.

– Да, – ответила она и чуть кивнула направо, – моего мужа.

– Вы никогда не были увлечены другим мужчиной?

Старуха обернулась к мужу. Она смотрела на него какое-то мгновение, и глаза ее были выразительны, и вдруг она улыбнулась длинными фарфоровыми зубами с четко просматривающимися золотыми прослойками.

– Нет, – ответила она, – я любила только моего милого Паульхена.

– Ваш муж казался вам образцом во всех смыслах?

– Да. Он был образцовым лютеранином, отцом и гражданином.

– Простите, фрау Легермайстер, мой следующий вопрос, но он необходим: был ли ваш муж образцовым мужем? Мужчиной, говоря точнее?

– Господин фон Хаффен, это меня никогда не волновало. Для меня всегда было главным духовное в любви, а не грязное, плотское...

Люс почувствовал, как затрясся от сдерживаемого смеха ассистент, – они сидели у камеры, тесно прижавшись друг к другу, и Люс толкнул его локтем.

«Великолепно, – радовался Люс, – было очень ясно видно, как она врала. Это удача».

Следующей на маленькую сцену, где обычно выступал джаз-банд, вышла Ингрид.

– Какой должна быть чистая, высокая любовь? – спросила она старика, сидевшего за столиком в одиночестве.

– Настоящая любовь, – ответил старик, пожевав синими губами, – должна быть доверчивой, нежной и трепетной.

– Простите, ваше имя? Телезрителям интересно узнать ваше имя...

– Освальд Рогге.

– Господин Рогге, что такое доверчивая любовь?

– Как бы вам объяснить получше, – вздохнул старик. – Это когда с первого взгляда... Даже не знаю, как объяснить...

– Ваша жена отсутствует на нашей встрече?

– Да. Она отдыхает с внуками на побережье.

Ингрид нахмурилась, обязательная улыбка сошла с ее лица, и она вдруг спросила:

– Как вы думаете, господин Рогге, возможно ли сохранить любовь после измены? Случайной, глупой... Ненужной...

– Нет, – отрезал Рогге. – Это исключено.

– А что же тогда делать человеку, который любит, но который в силу обстоятельств оказался... падшим...

– Об этом надо было думать раньше.

– Любовь исключает милосердие? – спросила Ингрид.

«Я подонок, – подумал Люс. – Что за манера – сразу составлять впечатление о человеке по первым двум фразам? Это преступление – позволять себе плохо думать о человеке, не узнав его толком. Фашизм какой-то. Разве я допускал, что она задаст такой изумительный вопрос? Впрочем, Нора решит, что я сочинил ей этот вопрос после совместно проведенной ночи».

– Любовь – это само милосердие, – ответил Рогге, – но для того, чтобы сохранить любовь, милосердие и чистоту отношений, следует быть беспощадным по отношению к падшим.

– Я не хочу вам верить, – сказала Ингрид, и в глазах у нее появились слезы, – нет мужчин, которые не изменяют женам! Нет! Я таких не встречала! Все мужчины изменяют, только одни это делают как скоты, а другие ведут себя как честные люди – не сулят рая и не клянутся в вечной любви!

– Я протестую! – сказал высокий, сильный еще, хотя седой как лунь, мужчина и поднялся со своего места. – Мы думали, что киноискусство хочет помочь нам в воспитании молодых германцев, а здесь мы видим попытку опорочить идеалы!

Люс начал грызть ногти: он грыз ногти в горе и в радости. Он знал, что это ужасно. Нора пилила его, утверждая, что ногти грызут только те мужчины, которым суждено быть вдовцами; он знал, как это омерзительно со стороны, но он ничего не мог с собой поделать. Сейчас была радость – неожиданная, он даже не мог мечтать о такой удаче: говорил Иоахим Гофмайер, бывший советник Геббельса по работе с молодежью. У Люса были архивные кинокадры, в которых Гофмайер выступал перед активом гитлерюгенда и давал указания, как и от чего следует уберегать германскую молодежь, что надо противопоставлять растленной большевистской и англо-американской пропаганде.

Люс не ждал, что к Гофмайеру подойдет Кристина. А она шла к нему, подтягивая за собой, как шлейф, провод микрофона.

– Неправда! – воскликнула она. – Никто не намерен выступать против идеалов чистой любви! Впрочем, я не понимаю, как можно делить любовь на «чистую» и «нечистую»?!

В зале поднялся шум. Благообразные старушки начали молотить по столикам тяжелыми пивными кружками.

– Самое чистое можно опорочить! – перекрывая шум, продолжала Кристина. – Можно! Напрасно вы так кричите! Значит, вы боитесь меня, если не дадите мне говорить!

– Тихо, друзья! – Гофмайер поднял руки, обращаясь к членам своей «ассоциации». – Дадим юной даме возможность высказаться и докажем ей, что нам нечего бояться. Прошу вас, юная дама.

– В ком больше чистоты и нравственности, – спросила Кристина, – в том, кто делает то, что ему хочется, открыто, не скрываясь, или в том, кто делает то же самое – вы знаете, про что я говорю, вы все знаете, и дамы и господа, – таясь, опасаясь, оглядываясь на прописную мораль буржуа?!

– В том чистота, юная дама, кто не оглядывается на прописную мораль, но согласовывает свои поступки с моралью истинной.

– В чем отличие прописной морали от морали истинной?

– Мораль – это, если хотите, соблюдение норм поведения.

– Значит, любовь – это норма поведения? – наступала Кристина.

– Поначалу любовь – это влечение сердец, а потом, когда влечение освящено церковью, – это, я не боюсь показаться старомодным, соблюдение норм морали и правил поведения.

– Влечение сердец? – переспросила Кристина, – А как быть с телом?

– Разве сердце бестелесно? – спросил Гофмайер и победно засмеялся своему вопросу.

– Ну, так вот о теле и сердце, – став бледной, заговорила Кристина, дождавшись, пока в зале стихнет смех. – Я вам хочу кое-что рассказать о сердце, чистой любви и теле. Я забеременела от господина вашего возраста...

Гофмайер, побагровев, спросил:

– Надеюсь, это был не я? Или вы забыли лицо вашего соблазнителя?

– Он был профессором римского права в нашем университете, – продолжала Кристина. – Он так читал о величии нравов Рима, что казался мне выше всех людей на земле, не говоря уже о тех первокурсниках, которые норовили прижаться ко мне коленкой на лекции. Я поссорилась с моим юношей, глупо поссорилась, а наш профессор ехал со мной в одном вагоне метро, и я, даже не знаю почему, рассказала ему об этом. Ах как красиво он говорил о любви и о подлости молодого поколения! Как он мне рассказывал о своей жене, которая изменила ему, и как она потом стояла перед ним на коленях, а он не простил ей, потому что «нельзя прощать подлость»! Как он говорил о чистоте, сделав меня женщиной! Как он говорил об идеалах, вынуждая меня лгать дома про то, где я провожу ночи! Как он анализировал литературу и театр! Как он был воспитан и добр, как он был нежен, зная, что никогда не женится на мне! А когда я забеременела, он стал просить меня отдаться тому бедному мальчику, чтобы было на кого свалить ребенка! Вы все предатели! Вы изменяли своим женам, а ваши жены изменяли вам, пока вы были молоды, а теперь вам хочется замолить грехи, и вы начинаете учить нас чистоте!

В зале началось что-то невообразимое – крики, шум, свист...

Люс схватил второй микрофон и вышел на середину зала – Кристина убежала куда-то.

– Дамы и господа! – закричал он, чувствуя отчаянную, холодную радость. – Господин Гофмайер! Дамы и господа, я прошу вас успокоиться. Может создаться впечатление, что вы противники демократии, ибо нельзя же, право, лишать человека его точки зрения, даже если вы не согласны с этой точкой зрения! Господин Гофмайер, у меня к вам вопросы. Надеюсь, ваши ответы все поставят на свои места.

– Хорошо, – ответил Гофмайер, – я готов ответить на ваши вопросы.

– Благодарю вас. Скажите, вы недавно пришли к этой великолепной и поистине добродетельной идее борьбы за чистую любовь или же всегда исповедовали те принципы, которым сейчас так самоотверженно служите?

– Я всегда исповедовал эти принципы...

– И до войны, и во время войны, и после нее?

– Да.

– Эти же самые принципы вы исповедовали и в тридцатые, и в сороковые, и в пятидесятые годы?

– Да.

- Значит, вы верили в чистую любовь, состоя в рядах гитлеровской партии и СС?
- Кто вам сказал об этом?
- Вы сами. Вы же сказали, что верили в сороковом году в те же принципы, что и сейчас...

Разве нет?

- Кто вам сказал про СС?
- Вы не были членом СС?

– Не шантажируйте меня! Господа, – он обернулся в зал, – здесь собралась банда! Это красные!

- Господин Гофмайер, вы уходите от ответа: вы были в СС?

Зал ревел.

- Панораму по лицам! – крикнул Люс Георгу, сидевшему за камерой. – Крупно!
- Сделал!

- Еще крупней!

- Сволочи! Мерзавцы! Провокаторы! – орали старики, поднявшись со своих мест.

Люс снова обернулся к Георгу и засмеялся – как выдохнул:

- Снимайте звук, ребята, и убирайте свет! Все. Этот балаган мне больше не нужен.

– Какое вы имели право снимать наше собрание?! – надрывалась старуха, подскочив к Люсу. – Мы привлечем вас к суду! Это провокация!

...Вскоре прибыл наряд полиции. Гофмайер обвинил Люса в диффамации и клевете и потребовал засветить отснятую пленку. Пришлось ехать в полицию – объясняться. Люс отказался давать показания до тех пор, пока не приедет адвокат. Он знал, что Гофмайер ничего не добьется, потому что Георг получил у президента «чистых любовников» разрешение на проведение съемок. Однако Люс чувствовал, как колотится сердце и противно холодеют руки. «Рабья душа, – подумал он, – до сих пор я не могу выжать из себя страх».

Полицейский офицер, сняв допрос, сказал, что он не видит противозаконных действий в том, что произошло в баре во время встречи, запланированной руководством «ассоциации по защите чистой любви». Он предложил Гофмайеру обжаловать его решение и пленку арестовывать не стал, поскольку Люс производил съемки в соответствии с разрешением, полученным официальным путем.

– Я бы не мог наложить арест на пленку, господин Гофмайер, поскольку конституция Федеративной Республики гарантирует свободу собраний таким же образом, как и свободу слова, – добавил полицейский.

- Пленка – не слово, господин офицер, – возразил Гофмайер, – я обжалую ваше решение.

У Люса тряслись руки, и он был ненавистен себе за то, что Гофмайер видел, как у него тряслись руки.

Когда он вернулся в отель, в «ресепсион», ему передали телефонограмму из Киприани – там отдыхала Нора с детьми. «Фрау Люс ждала звонка до трех часов ночи. Господина Люса просят не звонить до десяти часов утра, потому что фрау Люс не будет в номере и ночной звонок может испугать мальчиков».

Люс поднялся к себе и сел к окну. Рассвет был серым, сумрачным. Голуби, которые летали над площадью, казались грязными, словно чайки в гавани.

«Дурочка, – подумал Люс о жене. – Она вызывает во мне ревность. Я же знаю, что, несмотря на все ее истерики, она самый верный мне человек. Единственный верный, до конца. Без остатка. Она думает, что если ревнуют, значит, любят. Она никак не хочет согласиться со мной, что ревность – это от себялюбия. Лапочка моя...»

Люс решил поспать часа два – ночные съемки на улицах сорвались из-за того, что группа просидела в полиции. Он лег было, но потом поднялся, поняв, что не уснет: удача съемки в баре зарядила его энергией, которой так ждет каждый художник. Забывается все: усталость,

телеграммы Норы из Киприани, страх в полиции. Все уходит, остается лишь одно яростное желание продолжать работу.

Люс написал на листочке бумаги: «В творчестве надо, как в горах, не терять высоту». Ему понравилась эта фраза, он прочитал ее вслух и позвонил ассистенту:

– Мой дорогой Георг, не кидайтесь в меня туплей. Давайте отстреляемся сегодня до середины дня, чтобы вечером продолжить работу в Западном Берлине. Руки чешутся. У вас тоже? Я очень рад. Спускайтесь вниз, выпьем кофе.

Однако кофе он выпить не смог – растерянный Георг принес утреннюю газету, в которой сообщалось, что полиция обнаружила в доме Люса труп Ганса Ф. Дорнброка.

3

Прокурор Берг сказал:

– Фердинанд Люс, я вызвал вас в качестве свидетеля. Если у меня будет достаточно улик, я прерву допрос, потому что тогда каждое ваше слово может быть обращено против вас, и вам не обойтись без адвоката, ибо из свидетеля вы превратитесь в обвиняемого.

– Могу поинтересоваться – в чем?

– Я, знаете ли, исповедую постепенность... Не будем торопиться. Именно у вас на квартире погиб Дорнброк.

– Значит, меня обвиняют в убийстве?

– Я вас ни в чем не обвиняю, господин Люс. Я вызвал вас в качестве свидетеля. Вы готовы правдиво отвечать на мои вопросы?

– Да. Готов. Я готов на все, лишь бы скорее кончился этот ужас! Я готов на все! В газетах началась травля, продюсер уже бежит от меня! Почему меня обвиняют?! В чем?! Я не виноват в самоубийстве Ганса! Не виноват!

Берг снова надолго замолчал, а Люс, глядя на то, как старик ворошит какие-то бумажки на столе, подумал: «Все-таки я зоологический трус. Я боюсь, даже когда знаю, что невиновен. Недаром меня всегда тянет сделать картину о герое, который если и побеждает злодеев, то лишь от комплекса неполноценности. Художник выражает себя особенно хорошо именно в том, чего ему недостает. Только такой добрый художник, как Томас Манн, мог написать авантюриста Феликса Круля. Оскар Уайльд тоныше всех писал о чистой любви... А бабник никогда не сможет написать нежность, разве что только в старости, когда им будет владеть не желание, а горькая память, – все прошло мимо, все, что могло бы украсить его и облагородить... Проклятая немецкая манера – теоретизировать... Даже в кабинете прокурора. Если бы в моем мозгу укрепили датчики, которые могут автоматически, вне меня, записывать мысли, получилась бы великая книга. Некоторые писатели носят в кармане книжечки и записывают в них чужие слова и свои мысли. Идиоты! Всякая организация в творчестве глупа и идет от бездарности. Гений щедр, он не боится, что мысль, не занесенная в реестр, исчезнет. Значит, дерьмо эта мысль, если она порхает, как бабочка, и за ней надо бегать с сачком... Сейчас эта старая сволочь начнет задавать свои вопросы, он еще только готовится к этому, а я уже весь потный. Какая омерзительная, холодная рожа у этого старика... Отталкивающая рожа – один нос чего стоит... Наверное, был пропойцей, не иначе... Или склеротик. Вообще, всех стариков надо изолировать от общества. У них нет интересов, общих с людьми, которые хотят просто любить женщину, просто пить пиво и просто играть в теннис... Они все злятся, что им скоро пора в ящик, эти мумии».

– Расскажите о вашей последней встрече с Гансом Дорнброком, – попросил Берг.

– Я был в ванной... Это было что-то около часа ночи, я собирался в бар. Он пришел ко мне чуть пьяный, очень взволнованный.

– Каким образом вы определили, что он был чуть пьян и очень взволнован?

– Так мне показалось... Откуда я знаю, как это определить? Мне показалось, что он был самую малость пьян и очень возбужден...

– Может быть, вы хотите все рассказать без моих наводящих вопросов? Некоторые ищут общения со мной, чтобы как-то отделаться от мысли, что это допрос. Вы как?

– Мне было бы удобнее рассказать вам все, что я знаю, без ваших уточняющих вопросов.

– Хорошо. Пожалуйста.

– Ганс попросил чего-нибудь выпить... Я предложил ему поискать у меня на втором этаже, в библиотеке. Там, кажется, что-то оставалось. Он нашел бутылку, выпил, потом спросил: «Могу я посидеть у тебя полчаса, сюда должны позвонить, я дал твой телефон одному

человеку. Он должен скоро позвонить сюда, и я тогда поеду домой». Я сказал, что он может здесь и заночевать: Нора с детьми в Италии, дом в его распоряжении. Он тогда спросил меня... Хотя это долгая история: мы с ним болтали об искусстве, пока я одевался. А потом я уехал. А когда сегодня вернулся – я улетал в Ганновер, – меня ждали господа из политического отдела криминальной полиции. Вот, собственно, и все.

– Тогда у меня будет к вам ряд вопросов. Во-первых, в какой бар вы собирались поехать?

– В «Эврику».

– Вы были там?

– Конечно.

– Кто это может подтвердить?

– Кельнер...

– Вы там были один?

– Нет.

– С кем?

– Я не буду отвечать на этот вопрос.

– Вы были с женщиной и не хотите, чтобы об этом узнала ваша жена? Понимаю. Если мне потребуется, я смогу увидеть эту женщину?

– Это сопряжено с определенными трудностями... Вы должны понять нас...

– Вы встречали в баре кого-нибудь из друзей или знакомых?

– Не помню. Кажется, не встречал. Нет, не встречал...

– Показаний одного кельнера недостаточно. Мне нужны два показания. Хорошо, мы к этому вернемся позже. Когда вы приехали в бар?

– Я не помню. Точного времени я не помню.

– Я и не спрашиваю у вас точное время. Примерно в котором часу вы туда приехали?

– Что-то около двух.

– Как вы добились до «Эврики»?

– Я ехал туда на своей машине.

– Вы заезжали за тем человеком, с которым были в баре?

– Нет. Мы встретились у входа.

– Ваша подруга... Тот человек, который был с вами в баре, добирался туда на такси?

– Нет.

– На своей машине?

– Скажем, так.

– Господин Люс, этот ответ меня не удовлетворяет.

– Вы обещали не касаться этого вопроса.

– Я не спрашиваю имени и фамилии вашей подруги... пока что... Я задаю вопросы, связанные с обстоятельствами дела. На чем она приехала к «Эврике»? На своей машине?

– Нет.

– На машине мужа?

– Да. Но не надо этого нигде отмечать.

– Вы сказали, что Ганс пришел к вам «что-то около часа»... Постарайтесь вспомнить когда. В половине первого? В двенадцать сорок?

– Скорее всего это было в половине первого. А может быть, даже двадцать минут первого. Пожалуй, так точнее всего. Он пришел в двенадцать двадцать, потому что я минут за пять перед тем выключил ТВ, когда кончили передавать новости.

– Сколько времени вы с ним разговаривали?

– Несколько минут.

– И потом уехали?

– Да.

- Вы никуда не заезжали по пути в бар?
- Нет.
- Сколько времени вы ехали до бара?
- Не помню. Это не очень далеко...
- Полчаса? Больше?
- Ну что вы! Минут пятнадцать... Движения на улицах нет... Минут пятнадцать...
- Значит, в «Эврику» вы попали в час десять, час двадцать?
- Нет. Там я был без пяти два. Это я запомнил: часы у входа в бар очень большие, с какими-то странными, запоминающимися стрелками.
- Ясно. Хорошо. Спасибо. Теперь я попросил бы вас рассказать мне, о чем вы беседовали с Дорнброком.
- Я же сказал – об искусстве. Это был странный разговор.
- Это меня очень интересует, господин Люс.
- Он спросил меня, по-прежнему ли я отношусь к нацизму или меня сломали. Я ответил, что к нацизму я отношусь по-прежнему и что меня не доломали, но сейчас, сказал я ему, главная опасность, которая угрожает человечеству, не нацизм, а развитие техники. Вокруг земли – плотный слой отработанных газов. Заводы, которые делают для растущего населения мира машины, самолеты, атомные бомбы, хрусталь и полотняные рубашки, отравляют атмосферу и нагревают ее, и скоро начнется таяние снегов на полюсах и новый потоп, а при потопе люди ищут бревна для плотов... Он спросил меня, не хотел бы я продолжить свою картину о наци... У меня был такой фильм...
- Я смотрел ваш фильм, – перебил его Берг, – дальше, пожалуйста.
- Я ответил, что такие фильмы не дают денег. Нет, нет, я имею в виду не наживу, а просто-напросто базу для следующей работы... Я сказал ему, что устал рисковать, всякий риск рано или поздно убивает в художнике творца, то есть непосредственность, и превращает его в политика или в торговца, что еще хуже. И он вдруг предложил мне денег, огромную сумму денег. Я спросил его, какой фильм он предлагает мне снять. Он ответил, что сначала должен заручиться моим согласием. Он выписал мне чек на сто тысяч марок. Я сказал ему: «Порви этот чек. Я перестал чувствовать, что моя драка против наци нужна здесь хоть кому-то. Солдатом быть хорошо, когда знаешь, что ты нужен. А я здесь не нужен. Мир сейчас можно заставить рассуждать, отойдя от частных проблем. Надо выходить на общее, главное, что волнует планету, человечество, а не нас одних». Вот, собственно, и все.
- Следовательно, вы ему отказали? Вы отвергли его предложение сделать фильм, сюжет которого вам неизвестен, но который должен быть обращен против нацизма?
- Да. В общем, это надо понять именно так.
- Он сам порвал чек?
- Нет. Это сделал я. Он уже выпил полбутылки и стал пьяным. Он блевал, он вообще не умел пить... Я, говоря откровенно, не верю в устойчивость оппозиции миллиардерских сынков, хотя Ганс был славный парень. Знаете, тем, у кого папа имеет власть, можно поиграть в оппозицию – иногда. Мне же этого делать нельзя. Мне надо постоянно лавировать...
- Лавировать? Но вы ведь выступаете с откровенно левых позиций в своем творчестве...
- Я не отказываюсь от этих моих позиций. Иногда, правда, сниму какую-нибудь сусальность – для равновесия. Но Ганс предлагал мне сделать фильм... Как это он сказал... «Который взорвет здесь всех и вся. Я дам тебе такие материалы, которые не известны никому в мире». Я сказал ему: «Старикаша, ты поспишь часок-другой, а завтра мы с тобой договорим все это на свежую голову, без виски». И уехал.
- Кто должен был позвонить ему и почему он дал именно ваш телефон?
- Я не знаю.
- Вы достаточно полно воспроизвели ваш разговор с Гансом?

– Да. По-моему, да.

– Больше он ни о чем не говорил с вами?

– Нет.

– Тогда я позволю себе провести небольшой экскурс в область арифметики. Он пришел к вам в двенадцать двадцать. Так?

– Да.

– Вы приехали в «Эврику» без пяти два, то есть в час пятьдесят пять. Верно?

– Да.

– По дороге, как мы выяснили, вы никуда не заезжали.

– Да.

– Время, затраченное вами на дорогу, – пятнадцать минут, если не ошибаюсь?

– Верно.

– Значит, двенадцать двадцать плюс пятнадцать плюс еще десять – это я беру время на то, как вы спускались в гараж, отпирали ворота, заводили машину. Итого двенадцать сорок пять. Следовательно, Дорнброк провел у вас один час пять минут. Судя по вашим показаниям, разговор ваш смог занять десять – двадцать минут от силы. Значит, либо вы забыли какие-то аспекты вашей беседы, либо вы не все рассказываете мне, господин Люс.

– Если хотите, я постараюсь еще раз припомнить все, как было, а вы включите хронометр, господин прокурор.

– Зачем нам хронометр? Работает диктофон, он метрует показания автоматически.

– Ах вот как... Хорошо. Берем двенадцать двадцать. Ну, двенадцать тридцать – такой допуск на изменение точности возможен?

– Бесспорно.

– «Привет, Люс». – «Здравствуй, милый». – «Я не поздно?» – «Неважно. Я один. Нора с детьми уехала в Венецию, на Киприани». – «Она начала стрелять уток?» – «Нет, она продолжает медленно убивать меня». – «У тебя есть что-нибудь выпить?» – «Поищи наверху, в библиотеке, там что-то могло остаться». – «Спасибо. Иди брейся, я не буду тебе мешать». Я кончил бриться, принял холодный душ, переделся и вышел к нему. Он уже выпил бутылку, почти всю бутылку.

– Вы говорили, что у вас осталось полбутылки.

– Когда я стоял под душем, он зашел в ванну и показал мне полбутылки и здесь же начал пить ее из горлышка, а потом попросил меня подвинуться и сунул голову под холодный душ и стоял так с минуту. А потом ушел в комнату. А когда я вышел, бутылка была пустой. «Слушай, Люс, хочешь сделать гениальный фильм?» – «Конечно, хочу». – «Я могу тебе предложить сюжет. Это будет бомба. Настоящая бомба для председателя». – «Какого председателя?» – «Их несколько – председателей в этом деле, – ответил он и выругался. – Мой папа председатель, и великий кормчий председатель, и Амброс из БАСФ тоже председатель». – «Ганс, мне надоело драться. Когда ты чувствуешь себя солдатом, нужным в драке, это одно дело, а когда ты навязываешь себя, а от тебя открещиваются и ждут развлекательных штучек с эротикой или немецким Мегрэ – тогда делается очень скучно». – «А я вот и предлагаю тебе повеселиться. Каждый человек должен хоть раз от души повеселиться в этой жизни». – «В чем будет выражаться это веселье?» – «Оно уже кое в чем выразилось. Я выпишу тебе чек и дам материалы, которые потрясут мир». – «Старина, – ответил я ему, – мир уже ничем нельзя потрясти. Лет через пятнадцать неминуемо крушение планеты: ты заметил, как изменился климат? Ты знаешь, что количество смертельного углекислого газа в атмосфере уже сейчас перевалило допустимую норму? Ты знаешь, что достаточно миру „потеплеть“ на три градуса – всего лишь! – и начнется новый потоп? А кто об этом думает?» – «Хорошо, об этом будет твоя следующая вещь. Вот чек на сто тысяч. Я предоставляю все материалы. Я редко прошу, Люс, но если я прошу, то, значит, я знаю, почему я прошу». – «Порви чек. Не надо. Я не люблю пьяных разговоров. Давай

вернемся к этому делу утром». – «Ты торопишься?» – «Да, меня ждет Эжени». – «Ты позволишь мне посидеть у тебя? Я жду звонка. Сейчас мне должен позвонить один парень, я дал ему телефон, твой телефон. Так мне было удобней». – «Я же сказал: Нора с детьми в Италии, можешь оставаться здесь хоть всю неделю. Я из „Эврики“ – прямо на аэродром: моя группа ждет в Ганновере». – «Нет, спасибо, я дождусь звонка и уеду. Если я не дождусь звонка, тогда завтра будет много шума в здешней прессе». – «Я раньше не замечал за тобой склонностей к Яну Флемингу. Ты говоришь загадками...» – «Если бы ты сказал мне сейчас, что ты согласен на мое предложение, тогда я бы не говорил, как Флеминг... Кстати, скорее уж я говорю, как персонажи Ле Каре. А ты говоришь о трех градусах и углекислом газе. Позвони Эжени, попроси ее задержаться, я расскажу тебе фабулу – схематично хотя бы». – «Я не могу звонить к ней. Она звонит сюда, ты же знаешь». – «Ты отказываешься от шекспировского сюжета, Люс». – «Я опаздываю, милый. Поспи и не ездь сам за рулем, сшибешь кого-нибудь...» Вот примерно так, – закончил Люс. – Я пытался вам проиграть всю ленту такой, как я ее помню. Положите время на паузы, смех, изучающие взгляды... Сколько получится?

– Минут тридцать, как максимум...

– Значит, нам еще не хватает сорока минут?

– Примерно так. Когда он порвал чек?

– После того, как я сказал, что опаздываю и что ему следует поспать.

– Чьего звонка он ждал?

– Не знаю.

– А если предположить?

– Не знаю, господин прокурор.

– Вы его часто видели в таком состоянии?

– В каком?

– Вы же сказали, что он был очень взволнован...

– В общем-то, таким я его никогда не видел. Он, правда, показался мне несколько странным, когда приехал после путешествия в Пекин, Гонконг и Тайвань.

– В чем выражалась эта странность?

– Не знаю. Он приехал оттуда другим. Раньше он много смеялся, был гулякой... Впрочем, его друзья говорили, что он стал гулякой после какой-то личной трагедии, раньше, говорят, он был аскетом и в университете сторонился всех пирушек. А после этой поездки он показался мне каким-то замкнутым, ушедшим в себя...

– Гомосексуализм, марихуана?

– Исключено. Он воспитан в традициях... А у него, по-моему, не было порядочных женщин, только продажные шлюхи из кабаре. Но секс его не волновал... Он был до странности чистым парнем, кстати говоря...

– Так. Хорошо. К вопросу о сорока минутах нам еще придется вернуться, господин Люс... Я вас вызову в ближайшие дни.

– Я готов, господин прокурор...

Когда Люс ушел, Берг попросил секретаря вызвать на допрос тех людей, которые так или иначе были связаны с Дорнброком-отцом с момента организации концерна. Список у него был подготовлен – восемьдесят девять фамилий.

– А на завтра, – сказал он, – закажите мне, голубушка, телефонные разговоры с Сингапуром и Гонконгом – вот по этим номерам, пожалуйста.

ТРУДНЫЕ ДНИ ДОРНБРОКА-ОТЦА

Гиммлера разбудил Шелленберг, позвонив в Науэн в клинику доктора Гебхардта через семь минут после того, как на его стол лег радиоперехват о смерти Франклина Делано Рузвельта.

Гиммлер почувствовал, как по всему телу поползли медленные мурашки.

– Срочно поднимите в сейфе У-5-11 данные по гороскопам на апрель, – сказал он, – а я сейчас же еду к фюреру. Надеюсь, разведка Бормана и Риббентропа еще не перехватила это сообщение?

– Риббентроп мог это получить через свои связи с нейтралами... Но я постараюсь, чтобы вы были у фюрера первым...

– Да, да, – ответил Гиммлер, – хорошо...

«Ну вот и все, – подумал он и почувствовал, как на глаза его навернулись слезы. – Фюрер оказался прав, как всегда, прав... Смена правителя – это смена курса... Только этот ставленник евреев мог поддерживать Сталина. Любой другой президент примет протянутую нами руку... Теперь мы спасены, теперь Вашингтон поймет, что если мы не удержим полчища русских, то погибнет Европа».

Он одевался очень медленно, потому что дрожали пальцы. Собирая на столе бумаги, он заметил, что неверно застегнул пуговицы на френче.

«Ничего, – подумал он, – это хорошая примета».

Услыхав, что рейхсфюрер поднялся, в комнату осторожно заглянул дежурный адъютант.

– Все хорошо, Франци, – сказал Гиммлер, – все хорошо, мой друг. Пусть приготовят машину, а вы срочно позвоните к профессорам Пацингеру и Ваберу. Скажите, что сейчас за ними приедут. Извинитесь, что их побеспокоили среди ночи, но объясните, что это продиктовано чрезвычайным обстоятельством. Попросите их взять из личной картотеки апрельские параболы – как по состоянию светил, так и по расчетам на личные гороскопы фюрера.

Гиммлер налил себе холодного крепкого чая, разбавил чуть подслащенной водой с лимоном, прополоскал рот и пошел вниз. Небо было высокое, звездное.

«Все изменится, – думал он, садясь в машину. – Провидение последнее время испытывало нас: оно решило провести народ и партию через самые страшные трудности, через кровь и ужас. Мы были сильны и полны веры; именно поэтому провидению угодно теперь спасти нас – оно спасает достойных, тех, кто умеет верить».

Гиммлер не вспоминал сейчас, как он ездил к Герингу и говорил ему о том, что фюрера следует сместить, ибо он потерял волю и ведет народ к гибели; он забыл сейчас и о своих переговорах с Даллесом, направленных против Гитлера. Это сработало в нем автоматически: как и все слабые люди, обладающие огромной властью, в критические минуты он думал лишь о будущем, которое рисовалось ему в радужных красках, прошлое исключалось вовсе, будто его и не было. Сильный до тех пор, пока был силен фюрер, он сделался слабым, обнаружив, что его бог и кумир катится в пропасть. Но сейчас, после телефонного звонка Шелленберга, он вновь стал прежним Гиммлером, «фанатиком идей фюрера и национал-социализма, самого великого учения двадцатого века». Он легко выбросил из памяти те свои шаги, которые были явной изменой Гитлеру, ибо сейчас, когда звезда фюрера вновь воссияет после смерти Рузвельта, поскольку развалится коалиция врагов, он сделает так, что его аппарат, четко отлаженный, не знающий, что такое обсуждение приказа, сработает, и все причастные к прошлому будут уничтожены. Не будет никакого прошлого, если появилась реальная перспектива будущего. Это уже вопрос второстепенный, который решит аппарат: скрыть то прошлое, когда он, Гиммлер, проявил колебания. В конце концов он и тогда думал лишь о Германии. Но и это не должен знать никто, а тот, кто знал, исчезнет.

В приемной фюрера уже сидели профессора Пацингер и Вабер.

– Добрый вечер, – сказал Гиммлер сухо. Такая подчеркнутая сухость была неожиданной. Последние месяцы Гиммлер был необычайно добр со всеми окружающими.

Даже стоматолог, который вмонтировал ему в коренной зуб тайник с ампулой цианистого калия, объяснив систему пользования, отвернулся и заплакал. Гиммлер передал ему кабинет, конфискованный у коммуниста-стоматолога, и помог через университет получить степень доктора медицины без обязательной защиты диссертации. Стоматолог был всем обязан этому человеку с близорукими глазами, который сидел в кресле и спокойно слушал про то, как ему следует убивать себя, и поблагодарил за разъяснения, коснувшись его руки ледяными пальцами, хотя внешне был, как всегда, спокоен...

Но сейчас, когда все внезапно изменилось и когда завтрашний день сулил кардинальную перемену в раскладке политических сил мира, Гиммлер стал прежним Гиммлером – суховатым, жестким и немногословным.

– Прошу вас в кабинет, господи.

Там, предложив профессорам астрологии сесть, Гиммлер прошелся по кабинету, заложив руки за спину, и после долгой паузы спросил:

– Вы закончили обработку гороскопов на этот апрель у себя в институте?

– Нет еще, – ответил Пацингер. – Хотя работа близится к концу.

– Ну и что у вас получается – в порядке самого предварительного расчета?

Профессора переглянулись.

– Рейхсфюрер, – ответил Пацингер, директор секретного института при СС по составлению гороскопов, – все говорит о том, что, несмотря на громадную меру трагизма, переживаемого нацией, победа придет к нам и великие идеи национал-социализма воссияют в веках. Они будут путеводной звездой будущим поколениям европейцев.

Гиммлер прервал его:

– Вы повторяете передовицу из «Фолькишер беобахтер»... Это все я слышал по радио... Вы просто-напросто цитируете Геббельса, профессор. У вас не было никаких показаний на сегодняшнее число?

– Нет. Конкретных не было, – ответил Пацингер.

– У меня были, – негромко сказал Вабер, помощник директора по вопросам связи астрологии с математическими и биофизическими институтами. Он бросил астрономию, когда понял, что в условиях рейха, где будущее планирует не ученый, а партийный аппарат, ничего у него в науке путного не получится, тем более что астрономия была поставлена в зависимое положение от астрологии, и перешел к Пацингеру, человеку, далекому от науки, – просто-напросто тот был старым приятелем Лея, и руководитель «Трудового фронта» добился назначения Пацингера, не имевшего даже университетского образования, на должность директора секретного института. Гиммлер пошел на это сравнительно легко, потому что, когда он истребовал досье Пацингера, выяснилось, что тот состоял осведомителем гестапо с 1934 года.

Вабер поначалу рассчитывал, пользуясь астрологическим блефом, развернуть серьезную научную работу по своей теме «Астрономия и социологическая футурология». Но из этого ничего не вышло: институт был построен по образцу военной организации, и ни одна тема не утверждалась, если ее не поручал институту кто-либо из партийных или государственных бонз рейха. Вабер попробовал столкнуть Пацингера с его поста, вызвав его несколько раз на научную дискуссию в присутствии Гиммлера, но Пацингер обладал великолепной способностью чувствовать, чего хочет рейхсфюрер, какой гороскоп был бы ему сейчас наиболее желателен, и всегда «попадал в десятку».

Сейчас, после ночного звонка Шелленберга, вызвавшего его в бункер, Вабер включил радио и пошарил по шкале приемника. Он-то понимал, что сейчас самое важное в астрологии – это допуск к информации, а поскольку в Германии все новости интерпретировались мини-

стерством пропаганды, то вся объективная информация черпалась из передач английского, русского и американского радио.

Вабер и сам не знал, зачем он перед выездом в бункер включил радио. В общем-то, он всегда перед вызовом к руководству слушал вражеское радио, чтобы быть более осведомленным. Передачи, которые сегодня союзники гнали на Германию, были обычны, спокойны, презрительны. Но Вабер нарвался на передачу, которую транслировал Танжер. «По сведениям, полученным из неофициальных источников, здесь стало известно о скоропостижной кончине президента США, одного из лидеров „Большой тройки“».

– Что у вас было? – жадно спросил Гиммлер Вабера. – Что? Какие данные?

– Вчера я составил схему звездного поля – было безоблачно, и телескопическая аппаратура работала отменно, – начал Вабер неторопливо, ибо понял, что сейчас он имеет реальный шанс либо свалить Пацингера, либо получить самостоятельный институт и вместе с этим институтом сразу же уехать в Баварию – там прекрасная астрофизическая обсерватория и нет бомбежек. – Я обратил внимание на странное свечение Сириуса... Отсвет переливов Сириуса вызвал моментальную реакцию «Успеха» в Кассиопее. Я не готов к точному ответу, но вчерашний день либо сегодняшнее утро, по моим данным, могут трактоваться как переменная точка изначальной логичности событий.

– Вчера мы расстались с вами поздно, и вы ничего мне об этом не сообщили, – заметил Пацингер. – Вы имеете в виду восточный фронт или бои на западе?

– Нет, я бы не стал разделять сейчас или узко конкретизировать проблему. С моей точки зрения, отсвет Кассиопеи свидетельствует о всеобщем изменении направленности тенденций. За всеми этими внезапными изменениями звездного поля я вижу случай, но именно тот случай, который может повернуть вспять ход битвы... Повторяю, я еще не готов к точному ответу, но одиннадцатое апреля – это не простой день...

Гиммлер замер перед Вабером, и улыбка осветила его лицо...

– Вабер, вы гений, – сказал он тихо. – Я восхищен вами, Вабер!

«Бить надо сейчас, – решил Вабер, – потом может быть поздно, потому что Пацингер ринется к Лею и все сломает, приписав себе заслугу в организации системы его телескопов, которые позволили мне составить верный гороскоп. Бить надо немедленно».

– Рейхсфюрер, в Баварии сейчас простаивает обсерватория Кульбрахта, – сказал Вабер. – Там занимаются обработкой очевидных фактов. Если бы вы позволили мне взять пять-шесть сотрудников, я бы срочно выехал туда и подготовил в течение недели-двух гороскоп на май. Уже три дня я слежу за невиданными ранее процессами внезапного высвечивания звезд. Это симптом поразительный, ибо объяснить его можно лишь как единство несовместимого. Процессы, происходящие сейчас в звездном мире, отнюдь не сиюминутны: здесь надо тщательно рассчитать перспективу. Я жду ожидаемого в неожиданном, рейхсфюрер...

– Вы сможете все это изложить фюреру? – спросил Гиммлер. – Пусть ваш гороскоп еще не просчитан математиками, пусть. Вы сможете расчертить на листке бумаги происходящее?

– Да. Я смогу это сделать.

Гиммлер взял Вабера под руку и повел его к двери. Пацингер пошел следом.

– Подождите здесь, – сказал Гиммлер, – вы пока не нужны мне...

Гитлер уже знал о случившемся в Вашингтоне. Он сидел в своем маленьком кабинете возле стола, и в ногах у него лежала овчарка. Он заправил свою узенькую походную кровать шерстяным серым одеялом и разгладил складки на подушке так, чтобы кровать выглядела опрятной, будто он и не ложился сегодня спать.

Чуть приподняв руку, он обменялся партийным приветствием с Гиммлером и указал Ваберу на стул возле карты.

– Садитесь рядом, Гиммлер, – предложил он. – Я слушаю, профессор.

Вабер стоял перед фюрером и старался отвести взгляд от желтого, одутловатого лица Гитлера. Серые, тяжелые глаза Гитлера притягивали к себе, как магниты. Лишь глаза казались живыми, все остальное: пепельные щеки, поседевшие волосы, пергаментные руки, бессильные ноги в высоких, «бутылочками», сапогах – было каким-то безжизненным.

«И этот человек привел нас к трагедии, – подумал Вабер, но не испытал при этом гнева, лишь какая-то странная недоумевающая жалость к себе была в нем сейчас. – Мы шли за ним, верили в него, аплодировали ему, приравняли его к богу... Что стало с немцами, господи?! Это же вне логики!»

– Мой фюрер, – начал он, – в отличие от тех, кто исповедует каноническую астрологию, я прежде всего слежу за новыми тенденциями в науке. И я пришел к выводу, что не только звезды, видимые в радиотелескопы, но и не видимые нам в черных провалах космоса, влияют на человека, на его нервную структуру. Те, кто отстаивает очевидное, либо бездарны, либо преступны в тайных помыслах... Излучение радиоволн или электромагнитные колебания способны не только внести помехи в работу сверхмощной радиостанции – неосозаемые нами влияния космоса определяют тенденцию развития: солнечные протуберанцы вызывают мор на земле – с этим теперь перестали спорить...

Вабер заметил, как нетерпеливо дрогнула рука Гитлера, безвольно лежавшая на остром колене. Эта нетерпеливость безволия показалась Ваберу ужасной. Он понял, что Гитлера сейчас не интересуют обоснования, логика, точность; его интересует лишь астрологическое подтверждение той новости, которая, как ему казалось, известна лишь избранным рейха. Он не мог и представить себе, видимо, что его подданные вправе узнать новости не в передачах геббельсовского радио, но настроившись на волну Лондона или Москвы.

«Он хочет получить красивую игрушку, – понял Вабер, – я зря тяну. Я так могу потерять то, что лежит рядом, протяни руки – и твое».

– Однако, – продолжал в той же размеренной, неторопливой интонации говорить Вабер, – данные сегодняшней ночи, а вернее, вчерашнего вечера позволили мне набросать довольно занятную схему – в связи с теми изменениями звездных тел, которые я заметил в наших телескопах.

«Что они все понимают в науке? – подумал он, достав блокнот и набрасывая план. – Им неинтересен поиск, они не верят в необходимость десятилетий экспериментов, прежде чем можно прийти к выводу, им важна сиюминутная отдача. И победит тот, кто сможет им больше наболтать математической галиматии на уровне „доступной физики“: сложное им, не имеющим законченного школьного образования, абсолютно непонятно».

– Вот, мой фюрер, на этой схеме вы можете воочию убедиться: звезды, тяготеющие к западу, внезапно проявили мощную, целенаправленную активность, которая будет отмечена в ближайшие часы болезнями и горем далекого Запада... Скорее всего, горе обрушится на Америку. Это будет большое горе для Америки, и отсвет западных звезд на те, которые сопутствуют нашему весеннему развитию, не может не принести успеха вашим идеям... Это не просто мое желание или желание миллионов моих соплеменников. Это бесспорные данные, которые я смог прочитать на небе.

Гитлер быстро поднялся и пошел к карте. Гиммлер испытал острое счастье, потому что фюрер сейчас стал прежним Гитлером. Серые глаза его искрились, рука не дергалась, походка была уверенной, четкой, и нога не волочилась, как это было все последнее время.

– Вабер, я награждаю вас золотым рыцарским крестом, ибо вы оказались ближе всех наших болтунов к истине! Вы точнее всех смогли прочитать в звездах то, что мне всегда открывало провидение. Если бы провидение оказалось против нас, то это бы означало конец германской нации и я бы аплодировал этому, ибо лишь неполноценная нация может пройти мимо победы, сквозь победу, над победой и не взять ее рукой, даже не напрягая мускулов. Вабер, я рад, что Гиммлер привел вас ко мне. Вы еще не знаете, почему я рад этому... Мне не нужна

сладкая ложь, которой меня пичкают окружающие: мне нужна правда, и только правда, какой бы тяжелой она ни оказалась... Так вот, сегодня ночью умер Рузвельт, этот фигляр, тупой ставленник еврейского капитала! А это значит, что не позднее как через неделю «Большая тройка» развалится! Я ли не предрекал этого, Гиммлер?! Я ли не говорил вам, что мы идем к торжеству идей национал-социализма сквозь горе, лишения и кровь! Но что есть рождение ребенка?! Что это, как не отчаянье, кровь и крик?! Русские оглохнут от грохота своих орудий, которые станут бить по танкам американцев, англичан и французов!

Гитлер угостил Вабера шампанским, предложил рюмку Гиммлеру, но тот отказался – он не пил ничего, кроме лимонада: так предписывал устав СС, а пример – это ли не самое главное? Если лидер подтверждает свои слова делами, поступками, поведением, тогда он не может не добиться желаемого – так считал рейхсфюрер СС.

– Идите, Вабер, и знайте, что все ваши просьбы отныне должны выполняться незамедлительно! Вы нашли то, чего не может найти ни один ученый в мире, ибо вы верны нашей идее, а в ней – решение всех проблем!

Когда Вабер ушел, Гитлер сказал Гиммлеру:

– Соберите всех наших. Военных пока не зовите. И срочно свяжитесь с испанским послом: он должен иметь точные новости из Вашингтона... Поздравляю вас, Гиммлер. Я горжусь вами: вашей верностью, скромным мужеством и преданностью идее.

Гиммлер не смог сдержать слез. Гитлер погладил его по щеке и отправился будить Еву Браун.

Всю ночь в бункере шло веселье. Столы были накрыты для рядовых СС и для генералитета. В зал несколько раз выходил Геббельс. Он был неузнаваем: глаза его сияли, и с лица не сходила улыбка человека, который шел в гору и наконец поднялся на пик. Риббентроп тоже обошел всех офицеров СС, он обнимал незнакомых людей и, под утро напившись, решил спеть несколько песен Шуберта.

Утром следующего дня радиоперехваты, предназначенные для фюрера, задержали: Трумэн выступил с декларацией, в которой утверждал незыблемое решение американского народа вместе с «боевыми союзниками закончить войну, истребив гитлеризм в Европе отныне и навсегда».

Радиоперехват выступления Трумэна был задержан потому, что Гиммлер вызвал к себе «фюреров военной экономики»: Дорнброка, Круппа и председателя наблюдательного совета «И. Г. Фарбениндустрii» фон Шницлера. Представитель крупновского концерна на встречу не прибыл; Дорнброк и Амброс из «И. Г.» ровно в 13.00 были в приемной штаб-квартиры СС.

На этот раз Гиммлер не соблюдал нормы выработанного годами партийного этикета: не стал интересоваться процентами выпуска продукции, не расспрашивал о новшествах, которые внедрены на предприятиях, и не давал практических советов, как это было обычно принято.

– Какие у вас связи с американским деловым миром? – сразу же спросил он.

Дорнброк посмотрел на Амброса и ответил:

– Такой вопрос в устах рейхсфюрера СС звучит как предписание идти в тюрьму за связь с врагом...

– Господа, этот вопрос серьезен, значительно более серьезен, чем вы можете предположить...

– Следует понимать вас так, что рейху сейчас понадобились наши контакты с людьми большого бизнеса в США? – продолжал Дорнброк. – Для быстрых переговоров с ними по каким-то экстренным вопросам?

– Да.

– Но ведь не далее как год назад такого рода контакты могли привести к гильотине – даже таких верных движению людей, как я или Амброс...

– Мои контакты, – заметил Амброс, – практически невозможны, потому что русские опубликовали документы о газе «циклон» в Аушвице...¹ За работу над этим газом отвечал я, рейхсфюрер...

Дорнброк поморщился:

– Э, Амброс, не надо так!.. Дело есть дело, и если бы не вы занимались этой штуковиной, то СС поручило бы работу другим людям. Вы выполнили заказ руководства быстрее остальных – это лучшая визитная карточка для серьезного представителя делового мира... Если рассуждать по-вашему, то мои дела обстоят значительно хуже, потому что мой старший сын Карл расстреливал командос и помогал Эйхману в делах с евреями. Но разве я могу отвечать за действия моего сына? Не вы же работали с «циклоном» в Аушвице. Но я хотел просить вас, рейхсфюрер, объяснить нам, в чем смысл этих контактов. Во имя чего? Цели?

– Об этом я проинформирую вас, господа, если вам удастся найти солидных контрагентов, которые бы согласились выслушать нас самым серьезным образом.

Дорнброк отрицательно покачал головой и сказал:

– Рейхсфюрер, если когда-нибудь, где-нибудь и кто-нибудь решится повторить ваш эксперимент, в общем-то великолепный эксперимент, я бы посоветовал этому человеку не делать той главной ошибки, которую сделали вы...

– Я никогда не знал ненависти к евреям, – отпарировал Гиммлер. – Наоборот, я испытывал физическую боль, подписывая приказы на проведение акций против этого племени. Не мне говорить вам о том, что это за страшное бремя – бремя ответственности за судьбу нации и за ее будущее. Во имя будущего Германии мы пошли на то, что каждый безответственный обыватель волен трактовать как вандализм...

– Похоже, что вы оправдываетесь, рейхсфюрер, – сказал Дорнброк, и Амброс пораился, как сейчас говорил его коллега с третьим человеком партии. Он говорил сейчас с Гиммлером, не скрывая своей жалости к нему. – Я имел в виду иную ошибку, – продолжал Дорнброк. – Сначала вы считались с нами, с мнением фюреров экономики, но потом отмахнулись от нас, отделяясь присуждением ежегодных премий имени Гитлера... Вы поставили нас в положение солдат, но маршал не может стать солдатом, как бы ни был исполнителем. Вы начали предписывать людям дела лишь слепое исполнение ваших планов. После того как был изгнан Шах, мы оказались приказчиками. А мы не приказчики... Если бы мы продолжали союз равных, то англичане и американцы не стояли в Дюссельдорфе, рейхсфюрер...

– Вы забываетесь, господин Дорнброк! Помните, с кем вы говорите!

– Я помню, с кем я говорю! Я говорю с одним из тех, кто поставил Германию на грань катастрофы, а потом пришел ко мне с вопросом: «Где же ваши связи с деловым миром Штатов? Нам нужен мир...»

– Что?! Да я брошу вас в тюрьму!

– А кто тогда будет гнать для вас из последних запасов стали танки и орудия? Кто? – Он обернулся к своему спутнику: – Оставьте нас наедине с рейхсфюрером, Амброс.

– Мне еще нужен доктор Амброс, – сказал Гиммлер растерянно.

– Когда он понадобится, вы его пригласите из приемной, а пока в ваших интересах, рейхсфюрер, остаться со мной наедине. Идите, Амброс, и не сердитесь, пожалуйста.

Когда Амброс вышел, а Гиммлер, поблуднев от бессильного, унижительного гнева, отошел к окну, Дорнброк неторопливо заговорил:

– Все кончено. Надо смотреть правде в глаза. Вы проиграли. Вы *здесь* проиграли. Вы проиграли *здесь* выигрышную партию. Я понимаю, зачем вы меня пригласили... Крупп решил отсидеться дома: он сейчас не хочет иметь с вами дела, ожидая прихода англичан. «Фарбенин-дустри» прислал вам Амброса, который лишь состоит в директорате... Один я пришел к вам,

¹ Аушвиц – Освенцим – крупнейший концлагерь гитлеровцев (нем.).

рейхсфюрер, и я просил бы вас понять, что идти к вам накануне краха – это акт гражданского мужества. Я понимаю, на что вы уповаете. Вы зря уповаете на это. Никто сейчас не пойдет на контакт ни со мной, ни с Круппом. Поздно... Чуть поздно... Вы же хотите, чтобы я уговорил кого-либо в Штатах «простить» вас и сообща сохранить Европу от русских, не так ли? Вы хотите, чтобы люди бизнеса повлияли на Трумэна? Поздно, рейхсфюрер, поздно. Начиная с тридцать девятого года нам «не рекомендовалось» иметь дел с американским бизнесом, кроме тех, которые выгодны лишь нашей стороне и в конце концов могли бы помочь вам создать кризисную ситуацию в экономике Штатов. Это было неразумно: у американцев тоже есть головы на плечах, причем неглупые. Вы могли воевать с кем вам угодно – лучше бы, конечно, на одном фронте, но зачем было мешать нам иметь наши личные дела со Штатами через Швейцарию, Испанию и Португалию? Зачем надо было Гейдриху класть меня на плаху в тридцать восьмом году? Он именно тогда оборвал возможность всех моих контактов с Америкой – вы же знаете об этом эпизоде. Вы опоздали кругом, рейхсфюрер... Кругом и всюду... Когда ваши же люди наладили контакты с американцами в Лиссабоне в сорок третьем году, вот тогда надо было действовать, а не сейчас. Надо быть болваном, чтобы сейчас принять ваши предложения мира, рейхсфюрер. Это невыгодно – принимать сейчас ваши условия, потому что даже если русские и вывезут четвертую часть наших заводов, то третья часть, наиболее мощная – Рур, Эльзас, Бавария, – все это достанется американским деловым, как вы изволили выразиться, кругам... Но если вы следили внимательно за тем, что я говорил, то вы должны были обратить внимание на то, как я тщательно подчеркивал «проигрыш *здесь*». Ищите союзников, господин Гиммлер, ищите союзников... Тех, которые помогут Германии восстать из пепла. Вам нужно делать ставку на Восток, на его людские ресурсы. Тогда мы, подняв промышленную мощь Германии, сможем создать блок, и этот блок будет непобедим. Слепой фанатизм азиатов, помноженный на нашу промышленную мощь, делается силой номер один в этом мире. Я не знаю: микадо или оппозиция в Китае – не знаю, думайте об этом, но думайте обязательно, ибо вы должники перед нацией, и долг этот мы с вами обязаны ей вернуть сторицей.

– Вы свободны, господин Дорнброк, благодарю вас за то, что вы нашли время прийти ко мне... – Лицо Гиммлера ожесточилось. – Я запомню этот ваш акт гражданского мужества.

Через девятнадцать дней состоялась последняя встреча Дорнброка с Гиммлером. Этой встрече предшествовали обстоятельства трагикомические. Расстреляв во дворе партийной канцелярии своего шурина Фегеляйна, фюрер исключил из партии Гиммлера и Геринга за измену, а своим преемником назначил беспартийного гросс-адмирала Деница. Он считал, что Дениц тот человек, с которым Запад сможет разговаривать не с позиции высокомерных победителей, но как с солдатом, который лишь честно выполнял свой долг.

Гиммлер, узнав о самоубийстве Гитлера, ринулся во Фленсбург к Деницу. Его сопровождали двадцать человек из личной охраны.

Дениц видел из окна, как охранники Гиммлера заняли все входы и выходы во дворе его морского штаба. Гиммлер шел к дому Деница не спеша, о чем-то переговариваясь со своим адъютантом.

Дениц быстро оценил ситуацию: подводник, он умел принимать стремительные решения. Он тут же выскочил из кабинета в приемную и приказал своему порученцу капитану Кузе:

– Срочно вызовите сюда наряд подводников. Снимите их с лодок. Пусть они окружат штаб, а человек пятьдесят войдут во двор. Быстро! Сюда идет Гиммлер!

Рейхсфюрера он встретил стоя, обменялся с ним приветствием – Гиммлер поднял руку, а Дениц отклонял по-военному.

– Рейхсфюрер, я рад видеть вас здесь.

– Благодарю. Вы уже знаете, что фюрер ушел от нас?

– Да.

– Я пришел к вам как к патриоту Германии, – сказал Гиммлер. – В ваших руках флот – это сила. Фленсбург станет центром сопротивления врагу. Я пришел, чтобы возглавить этот фронт сопротивления. Надеюсь, гросс-адмирал, вы окажете мне помощь?

– Я должен обдумать ваше предложение, рейхсфюрер, – ответил Дениц, поглядев в окно. Он тянул время, ожидая прибытия своих людей. – Мы должны быть, как никогда, трезвы в оценке ситуации. Вы предлагаете продолжение борьбы только здесь или же вы думаете одновременно возглавить баварский редут?

– Я не хочу сейчас решать два вопроса. Мне надо начать. А начинать всегда следует с чего-то отправного, главного...

Он поймал себя на мысли, что повторял сейчас слова Шелленберга. Тот говорил именно эти слова: «Единственный путь к миру с Западом – это создание крепкого правительства на севере и обращение к Монтгомери за помощью против русских полчищ. Иного пути нет».

Дениц увидел, как из двух крытых грузовиков вываливались его подводники: в черной униформе, в беретах, с маленькими – на английский манер – автоматами.

– Господин Гиммлер, – сказал Дениц и выдвинул ящик стола: там лежал парабеллум, – прошу вас ознакомиться с этой радиограммой, – и он протянул ему завешание фюрера. – Поскольку я назначен преемником рейхсканцлера, я не собираюсь передавать вам этот пост.

– Во дворе мои люди, гросс-адмирал, и не следует нам входить в конфронтацию, особенно сейчас, перед лицом смертельной угрозы для родины. Вы делаете заявление для печати о том, что считаете меня рейхсканцлером и что фюрер отдал свой последний приказ, лишившись рассудка. Я, в свою очередь, назначаю вас министром обороны в моем кабинете.

– Господин Гиммлер, ваши люди окружены моими людьми – извольте убедиться в этом, – и он пригласил Гиммлера к окну.

Тот увидел подводников и, откашлявшись, сказал:

– Ну что же... Примите мои поздравления, рейхсканцлер. Следовательно, вы теперь первый человек, а я – второй. Не так ли?

Дениц отрицательно покачал головой.

– Нет, господин Гиммлер, – сказал он, – я не позволю вам занять место в моем кабинете.

– Но я же не претендую на первую роль!

– У вас руки в крови...

– Ах вот как! А вы агнец? Вы не топили транспорты с ранеными? Вы не расстреливали пассажиров, которые были в лодках, из пулеметов?! Вы не давали своим людям за это ордена? Стыдитесь, Дениц! Я никогда не думал, что мы пригрели на своей груди такую змею!

– Вас ждет много сюрпризов, господин Гиммлер. Мы очень любим Германию, но мы все очень не любили вашу машину ужаса...

– А, вы не любили нашу «машину ужаса»?! Только вы очень любили получать от этой «машины» особняки, яхты, автомобили и бриллианты к орденам! Какая неблагодарность, бог мой! Какая черная неблагодарность!

Гиммлер поднялся и, не попрощавшись с Деницем, вышел из кабинета. В машине он сказал адъютанту:

– К министру финансов Шверин фон Крозику...

– Гиммлер, посмотрите на себя со стороны, – сказал Шверин фон Крозик. – Это очень трудно делать – смотреть на себя со стороны, тем более, что ваш путь – это самый страшный, неблагодарный, хотя, я понимаю это, необходимый путь для охраны устоев созданной вами государственности. Дениц никогда не пойдет на то, чтобы дать вам в новом правительстве портфель, пусть даже министра общественного призрения. Вы были нужны Гитлеру, но вы не нужны нам... Ваше имя вселяет ужас, Гиммлер...

– Но вы были заместителем министра финансов в кабинете Гитлера, господин Крозик... Вы несете ответственность за все происходившее в Германии точно такую же, как и я. Вы визировали статьи бюджета, которые отпускались нам на строительство концлагерей.

Шверин фон Крозик отрицательно покачал головой:

– Я этого не делал. Я всегда занимался международными валютными операциями... Кредитами для СС поначалу занимался Шахт. А потом вы посадили его в лагерь, и этим он спас свою репутацию для будущего.

– А меня фюрер объявил изменником за то, что я искал мира с Западом! Этого недостаточно?

– А на кого списать миллионы людей, сожженных в ваших лагерях? Старайтесь быть зрячим – хотя бы сейчас. Я вам помочь ничем не могу... Да и если бы мог, то не стал бы этого делать...

– Но почему?! Что я сделал плохого лично вам?

– Ничего. Вы просто проиграли. Вы захотели стать богами в глазах тупых крестьян и мещанских лавочников, и вы отринули нас, людей дела, которые были с вами и привели вас к власти. Вот так, Гиммлер...

«Крысы побежали с корабля и грызут крупу, принадлежавшую капитану, – думал Гиммлер, медленно спускаясь по лестнице. – Штрассер был прав: их всех надо было расстрелять как бешеных собак, а фюрер занял половинчатую позицию, он хотел, чтобы они служили народу, а им плевать на народ – у каждого из них свои интересы...»

У входа он столкнулся с Дорнброком.

– Плохо? – спросил Дорнброк. – Я понимаю – плохо... Не отчаивайтесь, Гиммлер. Я хочу протянуть вам руку помощи. Но сейчас – во имя будущего – исчезните. Исчезните на какое-то время. Я говорил вам, куда следует уходить: на Восток. И передайте мне вашу тамошнюю агентуру. Вы, политики, особенно в минуты кризисов, не способны смотреть в глаза правде. Мы – люди иного склада. Мы смотрим вперед, сквозь правду, во имя будущего; вы же, политики, всегда живете во имя сохранения прошлого. О будущем вы думаете, только когда вам подсовывают победные сводки... Когда вы передадите мне ваших людей на Востоке?

Гиммлер посмотрел на Дорнброка и тихо спросил его:

– И вы считаете меня палачом?

Дорнброк пожал плечами:

– Назовите мне страну, где бы не было палачей. Я отношусь с большой сноской ко всякого рода моральным категориям. Словом, вы принимаете мое предложение?

– А что мне остается делать?

Тем же вечером Гиммлер сказал своим адъютантам:

– Я ухожу. Я скроюсь на Востоке, далеко на Востоке. Не ждите от меня известий. Я освобождаю вас от служения мне, друзья, и благодарю за верность. Вы услышите обо мне, и тогда вы понадобится мне снова.

Через шесть дней Гиммлер, случайно задержанный советскими солдатами под чужим именем, был передан англичанам. Не выдержав семидневного заключения в лагере, он закричал на утренней поверке перед раздачей похлебки:

– Я – рейхсфюрер СС Гиммлер! Я – Гиммлер!

Офицеры службы безопасности привели его в маленькую комнату и предложили раздеться.

– Донага, – сказал один из них. – Мы хотим видеть голенького рейхсфюрера...

Этого Гиммлер не выдержал. Он нашел языком коренной зуб, в который был вмонтирован яд, нажал языком на десну и трижды, как учил его стоматолог, крепко надавил другим зубом. В глазах у него зажглись огни, тело одеревенело, он еще какое-то мгновение видел лица своих врагов, а потом повалился на цементный пол, так и не раздевшись донага.

Когда молоденький британский офицер из МИ-5, закончив очередной нудный допрос, попросил Дорнброка выложить на стол содержимое его карманов, отобрал ручку о золотым пером и объявил, что теперь «господин председатель концерна отправится не в свой замок, но в наш замок – в тюрьму Ландсберг», Дорнброк долго и несколько даже сострадающе разглядывал лицо офицера.

«Мальчик, видимо, арестовывает первый или второй раз в жизни, – подумал он, – а это сладостное ощущение высшей власти над себе подобным. Мальчик упивается властью... Бедный мальчик...»

– Прежде чем вы отправите меня в камеру, мне хотелось бы побеседовать с кем-нибудь из ваших руководителей.

– Ваш протест будет бесполезной тратой времени.

– А я не собираюсь заявлять протест.

Полковник, к которому его привел офицерик, снял очки и, не предложив Дорнброку сесть, спросил:

– Что у вас?

– К вам персонально ничего, полковник... Я понимаю, что все происходящее сейчас со мной логично... Но я не могу не отметить, что это логика доктора, который срезает мозоли у больного, страдающего раком.

В камере Дорнброк неторопливо разделся, поискал глазами, куда бы повесить пиджак – в камере было жарко натоплено, – но понял, что никаких вешалок тут нет («Я не повешусь, глупые, – подумал он, – вешаются только истерики, туда им и дорога»), и бросил свой серый старомодный пиджак на койку. Потрогал столик – он был крепко привернут к полу; так же был привернут к полу круглый табурет («На таком я работал в конторке у дяди, когда был младшим бухгалтером, – отметил Дорнброк, – это хорошая примета – встречаться с молодостью»), а высокое окно было забрано толстыми витыми решетками. («Зачем так уродовать металл? – подумал Дорнброк. – Или этой завитостью они хотят еще больше уstrasшить узников? Глупо: витой металл порядком слабее, он не может использоваться в оборонной промышленности»).

Дорнброк присел на койку. «Слишком твердо. Ну, конечно, это доски. Из металлического матраца я могу через десять лет – бонжур, мсье Монте-Кристо, – сделать себе нож, которым заколю охранника. Впрочем, для моего геморроя и спондилеза этот жесткий матрац – лучшее, что только можно пожелать».

Он прилег на койку, запрокинув руки за голову, но в тот же момент в дверь камеры гулко забарабанил охранник:

– Лежать днем запрещено! Можете сидеть на табурете у стола!

Дорнброк неторопливо поднялся, сел к столу и вдруг рассмеялся: «Ничего. При больших проигрышах надо ставить себе более грандиозные задачи на будущее. Я смогу помозговать над системой. А то в последние годы я стал похож на ту слепую лошадь, которую я видел в Донбассе, когда прилетал туда с Герингом. Вообще, каждый человек обязан хоть немного посидеть в тюрьме. Только тогда он сможет ощутить вкус свободы и вынести свое суждение о законе. А закон – это и есть система».

Зимой сорок шестого года его адвокат добился двух послаблений в режиме: во-первых, Дорнброку вернули его вечное перо, а во-вторых, ему было разрешено дважды в неделю видаться с юрисконсультами, которые представляли его интересы в отделе декартелизации союзнического совета по Германии.

В западных зонах большинство его предприятий и банковских бумаг было арестовано американцами. Они же вели дела всех «военно-промышленных преступников», поэтому вскоре Дорнброк был передан британцами американским властям. Тогда-то и состоялась его

первая встреча с Джоном Лордом, офицером при штабе Макклоя, а потом с шефом отдела безопасности союзнического совета по Германии от США Келли.

Когда в Фултоне выступил Черчилль, Джон Лорд сразу же принес Дорнброку газету и сказал:

– Прочитайте речь бульдога. Старик мудр. Причем, находясь в оппозиции, он более проныцателен, чем во время пребывания у власти... Ничего не попишешь: его вторая натура – это живопись и изящная словесность; его заносило. А когда он не у дел, он трезво мыслит, так трезво, как никто у нас в Вашингтоне. – И Джон Лорд внимательно поглядел на Дорнброка.

Тот ничего не ответил, лишь пожал плечами, которые в тюрьме стали по-птичьи узкими, опущенными.

– Вы почитаете сейчас или оставить вам на день? – спросил Джон Лорд.

– Как угодно, – сказал Дорнброк. – У меня к вам просьба: во время свидания со мной сын признался мне, что его зверски избивают в гимназии за то, что я нацист. Во-первых, я никогда не был членом партии, а во-вторых, как это согласуется с нормами вашей демократии?

– Теперь в Германии все ненавидят нацизм, – ответил Джон Лорд. – Охрану вашему сыну мы выделить не сможем. Пусть занимается спортом...

– Значит, мальчика будут продолжать избивать?

– До тех пор, пока вы не начнете давать правдивые показания. Тогда мы сможем попробовать выпустить вас до суда под залог.

– Мои показания относятся к моему делу, а какое отношение к этому имеет Ганс?

– Он ваш наследник.

– У вас тут нет звукозаписывающей аппаратуры?

– Я не из ФБР. За них ручаться не могу, возможно, они проверяют меня. Нашей, во всяком случае, нет.

– Может быть, я могу попросить вас в частном порядке принять участие в судьбе мальчика?

– Вы плохо знаете американцев, Дорнброк. Мы не так сентиментальны, как вы, и не любим вытирать слезы платочком. Я помогу парню и без ваших денег. В этом мире продается все, кроме достоинства Джона Лорда... И почитайте Черчилля, – добавил он, поднимаясь с койки, – это серьезнее, чем вы думаете.

– Спасибо. Можете ли вы позвонить моим юрисконсультам? Эта просьба не носит противозаконного порядка: я хочу просить их срочно выписать из Америки и перевести на немецкий язык все книги Винера. Меня интересуют электронно-вычислительные машины и атомная техника.

– Но вы специализировались по стали, танкам и автомашинам...

– Я и впредь буду по ним специализироваться, господин Лорд, тем более если вы говорите, что речь господина Черчилля разумна и серьезна. Чтобы вкладывать деньги в нерентабельные, но перспективные отрасли науки, надо продавать людям отменные чулки. На этом можно построить базу для науки следующего века. И последняя просьба: мог бы я просить вас выписать в Штатах все справочники, относящиеся к банковской группе Дигонов?

Лорд ответил:

– Что ж... Эта просьба не имеет противозаконного характера... Я выпишу вам все, что у нас издано о Дигонах... Со старшим-то вы были неплохо знакомы, а?

...Барри К. Дигон стоял на пристани и старался не думать о том моменте, когда он увидит брата. Они расстались восемь лет назад: Самуэль К. Дигон, тогда еще подданный Германии, уехал в Берлин – ликвидировать филиал их дела, но был арестован вместе с пятьюстами финансистами после убийства немецкого дипломата в Париже еврейским экстремистом. Геринг потребовал тогда, чтобы немецкие евреи внесли миллиард марок контрибуции за «неслыхан-

ное злодеяние, когда международное еврейство направило руку палача и от этой злодейской руки погиб германец, виновный лишь в том, что он германец».

Во время ареста Самуэль К. Дигон выразил удивление и постарался объяснить допрашивавшему его офицеру гестапо, что он лишь формально считается немецким гражданином, что вся его семья живет в Штатах, а младший брат, Барри К. Дигон, – председатель правления крупнейшего «Нэшнл бэнка». Офицер гестапо, выслушав Самуэля, ударил его сапогом в живот, а потом, когда Самуэль упал, начал избивать его свинцовым проводом, обтянутым изоляционной лентой. Дигон потерял сознание, был отправлен в госпиталь, там у него вытащили четырнадцать корешков – именно столько зубов было сломано или выбито; хирург с большим трудом сшил рваную рану на лбу, и поэтому, когда американский посол Додд по поручению государственного департамента (помощник государственного секретаря по европейским вопросам ранее работал юристом у Дигона) посетил Риббентропа и запросил о судьбе Самуэля, Гиммлер ответил, что гестапо пока ничего не известно о судьбе брата американского банкира. Однако Риббентроп после беседы с Гиммлером заверил посла Додда, что германские власти предпримут все меры для розыска Дигона-старшего и не преминут сообщить о результатах расследования.

Самуэля К. Дигона перевели из госпиталя на маленькую дачку – в горы, в Тюрингию. Там к нему были приставлены врач и охранник. Обращение было изысканное, пищу давали диетическую; ни о чем с ним не разговаривали; все просьбы выполняли незамедлительно, кроме одной: когда он заказал в пятницу особую, «кошерную» пищу, охранник ответил:

– Еще раз запросишь свою еду – заставлю жрать свинину с утра до вечера, понял?! У нас люди получают еду по карточкам из-за ваших гешефтов, а тут еще особую пищу подавай!

Вероятно, он все же сообщил об этой просьбе Дигона, потому что был назавтра же заменен другим – более пожилым, молчаливым человеком. Когда Дигон оправился, к нему приехал офицер из VI управления СД.

– Господин Дигон, – сказал он, – меня уполномочили спросить, нет ли у вас жалоб. Как обращение персонала? Как с едой? Как самочувствие?

Самуэль лишь пожевал губами: из-за того, что четырнадцать зубов были выбиты, его рот стал стариковским. «Я похож на Вольтера, – однажды заметил Самуэль, разглядывая свое изуродованное лицо, – есть такой скульптурный портрет, где у него втянуты щеки, а рот, хотя и закрыт, кажется совершенно беззубым».

– Не слышу, – сказал офицер. – Что вы сказали?

– Я ничего не сказал, – прошамкал Дигон.

– Разве вам еще не сделали мост? Ведь было приказание из Берлина сделать вам вставную челюсть. Безобразие какое!

– Мне ее сделали, но к ней надо привыкнуть...

– Расскажите, пожалуйста, как все это с вами случилось? Вы упали с лестницы в полицейском участке или над вами в камере издевались уголовники?

– А как вы думаете?

– Видите ли, – ответил офицер, – меня в данном случае больше интересует, что по этому поводу думаете вы...

– Почему это вас так интересует? После того, что случилось...

– Именно после того, что случилось, меня это особенно интересует.

– Вы хотите сказать, что, если я расскажу, как уголовники в камере изуродовали меня, а ваши тюремные врачи спасли мне жизнь, я смогу получить встречу с представителями американского посольства?

– А при чем здесь американское посольство? – удивился офицер. – Вы гражданин Германии...

– Гражданин? Я никогда не думал, что с гражданами можно обращаться таким образом, как обошлись со мной...

– Кто? Кто с вами обошелся таким образом?

– Бандиты, – ответил Дигон. – В тюремной камере... Следует ли мне понимать вас таким образом, что именно эта сусальная история – гарантия моего освобождения?

– А вы уже освобождены. Произошла ошибка, господин Дигон, вы не имели никакого отношения к делу этого мерзавца в Париже... Ну а бандитов, которые вас избили в камере, мы привлечем к суду по двум статьям: грабежи, с одной стороны, и нарушение тюремного режима – с другой.

– Если я освобожден, тогда позвольте мне незамедлительно уехать в Нью-Йорк.

– Сначала давайте доведем до конца курс лечения, а потом вы поедете туда, куда вам заблагорассудится.

– Я могу долечиться там, где мое питание не будет регламентировано охранником.

– Господин Дигон, народ возмущен злодейством еврейской террористической организации, и мы обязаны отвечать за вашу безопасность – простите, но, если кто-нибудь из граждан рейха убьет вас выстрелом в висок, оживить вас мы уже не сможем. Нам бы хотелось, чтобы вы рассказали в печати о том, что бредни, распространяемые врагами о нашей мнимой жестокости в тюрьмах, не имеют ничего общего с действительностью. Да, вы были арестованы, причем случайно, да, вы сидели одну ночь в камере, и бандиты, арестованные за грабежи и насилия, учинили над вами зверскую расправу, но если бы не помощь наших тюремных врачей, то вы бы сейчас покоились в земле, господин Дигон. Вам бы следовало рассказать о том, что наша юриспруденция не карает невинных, хотя от случая в нашей жизни никто не гарантирован – по-моему, об этом есть даже в талмуде...

– В таком случае я повторяю мой вопрос, господин офицер... Не имею чести знать вашего имени...

– Эйхман... Моя фамилия Эйхман.

– Следовательно, господин Эйхман, после такого рода заявления я смогу покинуть рейх?

– Бесспорно. Вы покинете рейх, если желаете этого, но не сразу после такого заявления... Вам еще предстоит решить ваши финансовые дела, да и не следует вам сразу же уезжать – могут пойти кривотолки: мол, Дигона попросту заставили выступить с этим заявлением.

– А возможен ли такой вариант: я выступаю с заявлением, в котором благодарю немецкую юриспруденцию и медицину, а после этого вы отказываете мне в выезде на родину?

– Неужели вы думаете...

– Да, господин Эйхман, я думаю именно так. И мне нужны гарантии.

– Я могу понять вас, – после некоторой паузы ответил Эйхман. – Хорошо. Кого бы вы хотели иметь гарантом?

– Кого-либо из представителей наших фирм.

– Это будут американцы? Нет, такой вариант нас не устроит. Может быть, мы остановимся на ком-то из ваших немецких контрагентов?

– Пожалуйста.

– Кого бы вы хотели предложить?

– Доктор Шахт.

– Это невозможно. Доктор Ялмар Шахт – член имперского кабинета министров.

– Доктор Абс? А может быть, Дорнброк?

– Позвольте мне посоветоваться с руководством. Могу вам сказать, что оба эти человека, хотя и являются финансистами – а вы знаете, что наша партия выступает против финансового капитала и крупной буржуазии, – ничем себя не скомпрометировали и занимают нейтральную позицию. Естественно, мне придется переговорить с ними – согласятся ли они выступить вашими гарантами. Впрочем, нам нужен один гарант. Так кто же из них? Абс? Или Дорнброк?

– Хорошо, – пожевав беззубым ртом, ответил Дигон. – Давайте остановимся на Дорнброке.

...Дорнброк пожал худую руку Дигона и прошептал:

– Боже мой, что с вами, Самуэль? Какой ужас, бедный вы мой... Эйхман рассказал мне, что вас изуродовали бандиты в камере во время случайного ареста... Есть еще какой-то Дигон, которого искали, а взяли по ошибке вас...

– И вы поверили этому, Фриц? – горько усмехнулся Самуэль. – Фриц, это все ложь! Меня избил их следователь в гестапо! А теперь они хотят, чтобы я обелил их. Наверное, Барри нажал на них через государственный департамент. И они хотят, чтобы я сказал, будто все это, – он показал иссохшими руками на свое изуродованное лицо, – дело рук бандитов... Не тех бандитов, которые допрашивают, а маленьких, несчастных, темных жуликов. Я сделаю такое заявление, чтобы вырваться из этого ада...

– А дома вы скажете всю правду про этих изуверов, я понимаю вас...

– Конечно! Об этом нельзя молчать. Мир содрогнется, если рассказать об этих зверствах. Достаточно посмотреть на мое лицо... Это страшнее слов...

Дорнброк сказал Эйхману, заехав к нему в имперское управление безопасности:

– Его нельзя выпускать. Отправьте его в лагерь... В такой, словом, откуда не очень скоро выходят. Но пусть он будет жив... Им можно торговать. Естественно, вся собственность Дигона переходит в распоряжение моей компании, но это должно быть сделано секретно. Ариизация предприятий Дигонов, и все. А куда пошли их капиталы – это наше дело.

– Это наше дело, – согласился с Эйхманом Гейдрих, – именно поэтому мы скажем, что все еврейские капиталы переданы народным правительством в народные предприятия оборонных заводов Дорнброка. Я не люблю лис и уважаю позицию. Или – или. В данном случае это будет полезно не только для Дорнброка, но и для всех остальных наших магнатов... Уж если с нами – то во всем и до конца. А это возможно лишь через клятву на крови.

– Да, но Дорнброк провел с ним работу и написал о намерении еврея выступить против нас в Америке...

– А это его долг! И незачем из этого нормального поступка делать сенсацию. Теперь мы над Дорнброком, а не он над нами.

Назавтра Дигон был переведен в Дахау – без имени и фамилии, как превентивный заключенный под № 674267.

Барри К. Дигон увидел на борту «Куин Элизабет» седого старика с обвислыми усами и белой длинной бородой. Ничего в этом старике не было от Самуэля, но он сразу же узнал в нем брата. Все в нем замерло, и он зарыдал.

Он продолжал рыдать и в машине, положив свою голову на худенькую, птичью грудь Самуэля, а тот тихонько гладил его голову и шептал:

– Ну, не надо, мальчик, не рви свое сердце, видишь, я вернулся, бог не оставил меня в беде...

Братья сидели в громадном «кадиллаке» и плакали, а кругом веселилась шумная толпа, праздновавшая победу, которую привезли из Европы ребята в зеленых куртках, и сквозь эту толпу было трудно ехать, шофер все время сигналил, то и дело оборачивался назад и с ужасом смотрел на живого мертвеца, который задумчиво гладил голову хозяина, крупнейшего банкира страны, человека, считавшегося одним из серьезнейших финансистов Америки.

Самуэль умер на следующий день. Он умер у себя в комнате, когда поднялся и подошел к окну и увидел маленький нью-йоркский садик, в котором ровными рядами были высажены розы и глицинии – точно такие же, как у нацистов, в Тюрингии, в тридцать восьмом году.

На похоронах, после панихиды в синагоге, тело Самуэля Дигона было перенесено в зал заседаний «Нэшнл банка». Здесь, выступая с кратким словом, Барри сказал:

– Вопреки традициям предков мы привезли Самуэля сюда, чтобы с ним могли попрощаться все те, кому дорога демократия, дарованная нашей стране мужеством ее сограждан и богом. Мы привезли Самуэля сюда, потому что традициями наших детей стали традиции Америки. Теперь, наученные бандой нацистов, мы станем непримиримы ко всем и всяческим проявлениям фашизма, где бы и в какой бы форме он ни возродился. Мы будем сражаться против фашизма как солдаты, с оружием в руках. Мы будем мстить не только за Самуэля – он лишь один из шести миллионов безвинно погубленных гитлеровцами евреев. Мы будем мстить за сотни тысяч погибших американцев и англичан, французов и поляков, русских и чехов. Прощение рождает прощение – гласит мудрость древних. Нет. Отмщение родит прощение или хотя бы даст нам возможность смотреть на немцев без содрогания и ненависти. Все те, кто был с Гитлером, все те, кто воевал под его знаменами, все те, кто привел его к власти и поддерживал его, должны быть наказаны. Мы не можем исповедовать доктрину душегубок, виселиц и пыток. Мы будем исповедовать закон. И этот закон воздаст каждому свое. Прости меня, брат, за то, что я не смог тебе ничем помочь! Спи спокойно, ты будешь отмщен!

ИСАЕВ

1

«А с ногами-то плохо дело, – подумал Максим Максимович, – и самое обидное заключается в том, что это в порядке вещей. Увы. Шестьдесят семь – это шестьдесят семь: без трех семьдесят. Возрастные границы – единственно непереходимые. Как лишение гражданства: туда можно, а обратно – тью-тью».

Он старался растирать ноги очень тихо, чтобы не разбудить Мишаню, всегдашнего своего спутника на охоте, механика их институтского гаража, но Томми, услышав, что хозяин проснулся и трет ноги щеткой, поднялся, громко, с подвывом зевнул и вспрыгнул на сиденье. Он всегда спал у них в ногах – возле педалей «Волги». Но когда хозяин просыпался и начинал растирать щеткой ноги, Томми сразу же забирался на сиденье и ложился на Мишаню.

– Рано еще, – буркнул Миша, – ни свет ведь, ни заря, Максим Максимович... Не прилетели еще ваши куры...

– Сейчас мы уйдем, не сердись...

Но Миша уже не слышал его. Повернувшись на правый бок, он укрыл голову меховой курткой и сразу же начал посапывать – он засыпал мгновенно.

...Серая полоска над верхушками сосен была молочно-белой. Мир стал реальным и близким; Исаев увидел и валуны, которые торчали из тумана, и воду возле берега, которую, казалось, кипятили изнутри – такой пар дрожал над ней; увидел он и трех уток, которые плавали возле берега, то исчезая в тумане, то рельефно появляясь на темной, кипевшей воде.

Максим Максимович любил бить влет: когда сталкиваются точности двух скоростей – птицы и дроби, – в этом есть что-то от настоящего соревнования. Мишаня, правда, смеялся над Исаевым: и над его маскировочным халатом, и над винчестером с раструбом, и над особыми патронами, которые специально заряжал доктор Кирсанов, и над тем, как Исаев мазал по уткам с близкого расстояния. Сам Мишаня ко всей этой столь дорогой Исаеву охотничьей игре относился отрицательно: он сидел на зорьке в черном пиджаке, видный за версту, с курковой тулкой, патроны у него были отсыревшие; иногда он начинал петь песни, что приводило Исаева в ярость, но он боялся крикнуть, чтобы тот замолчал, потому что все время ждал появления уток – на вечерней зорьке они появляются из серых сумерек неожиданно и столь же неожиданно исчезают, охотнику остается лишь мгновение на выстрел. Однако, несмотря на все это, Мишаня на охоте был удачливее Исаева, и уток всегда приносил больше, и всегда вышучивал Максима Максимовича, когда они сидели по вечерам у костра и готовили себе кулеш.

Исаев решил поэтому взять этих трех уток, чтобы утереть нос Мише. Он выждал, пока утки сошлись, и выстрелил. Одна осталась лежать на воде бесформенной и жалкой, враз утратившей свою красоту, и то, что Исаев заметил это, помешало ему снять тех двух, которые свечой поднялись в серый туман. Одну он все-таки снял, но радости ему это не доставило.

– Чего, консервы будем открывать? – смешливо спросил Мишаня, хлопотавший у костра.

Исаев молча бросил двух уток к его ногам и сказал:

– Сегодня твоя очередь щипать, ты – пустой.

– Это почему же я пустой? – обиделся Мишаня и приоткрыл край брезента: там лежали три кряквы. – Они ко мне прямо сюда садятся. На болотце. Я их из машины бью.

Исаев снял сапоги и сказал:

– Издеваешься, да? Вода закипела?

– Дрова сырые, Максим Максимыч. Я уж их и бензином, и по-всякому... Критиковать вас буду – сухой бензин вы должны были купить, у вас в «Спорте» приятели работают...

– Не было сухого бензина, не ругайся. Туристский сезон...
– Вот из-за туристского сезона на поезд свой опоздаете... Народу на станции, наверное, тьма – пятница...

– Кто ж в пятницу едет в город?

– Колхозники – кто... Мы к ним, они – к нам, обмен опытом... – Мишаня засмеялся. – А вот для Томми вашего овсянки тут не достанешь... Чем я его две недели прокормлю?

– Я раньше вернусь... Через десять дней вернусь... Ты его покорми пшеничкой или ядрицы в сельмаге возьми. Только ядрицу сначала в холодной воде замочи, ладно? И нормальной солью присаливай, а то он рыбацкую не переносит.

– Будет сделано, – ответил Мишаня. – Я тут с ним без вас всех птиц перестреляю.

Исаев ошипал уток, сварил кулеш, потом два часа поспал на стареньком надувном матрасе возле озера, побрился, надел свой брезентовый походный пиджак и отправился на станцию – на прямую, через лес, до нее было десять километров. Мишаня предлагал подвезти, но Исаев отказался:

– Все равно самолет у меня только завтра утром, успею. Отдыхай, Мишаня. До встречи.

На станции народу было действительно полным-полно, билеты в кассе кончились, дежурный по вокзалу ни в какие объяснения входить не хотел: «Всем вам на базар только б и шлендать!» – и пришлось договариваться с проводницей, которая пустила Исаева за трешницу в переполненный бесплаткартный вагон с условием, что часть дороги он проедет в тамбуре, а если придут контролеры, то всю ответственность за безбилетный проезд возьмет на себя.

До дома Исаев добрался только в два ночи, разбитый, с головной болью. На столе в кабине лежала записочка: «М. М., два дня, как ваш директор наказывал позвонить ему домой или в институт из-за неприятностей. Очень искал. Нюра».

Почерк у лифтерши, которая дважды в неделю приходила к Исаеву убираться, был детский, чуть заваленный вправо, иногда она путала мягкий знак с ятем, и Максима Максимовича всегда это очень веселило, и записочки ее он хранил.

«Какие неприятности? – подумал он. – Через три часа мне надо быть на аэродроме. Сейчас звонить поздно, а в пять утра – слишком рано. Пусть они подождут со своими неприятностями до моего возвращения».

Он принял ванну, потом погладил серый костюм, в котором всегда выступал на ученых советах, взял несколько галстуков, долго размышлял над тем, стоит ли брать плащ – в Берлине август и сентябрь самые жаркие месяцы; сложил в чемодан три рубашки, легкие брюки, лекарства и вызвал такси – он любил приезжать на вокзалы и на аэродромы загодя.

Пройдя таможенный досмотр и паспортный контроль, он оказался среди шумной толпы японских и американских туристов, которые летели через Западный Берлин в Мадрид («Странный маршрут – через Рим значительно быстрее»). Исаев вдруг усмехнулся, подумав о том, как поразительны смены человеческих состояний во времени: девять часов назад он стоял на зорьке, пять часов назад потел в тамбуре, сейчас толкается среди гомонливых американских старух с острыми локтями и фарфоровыми зубами, а еще через три часа он должен быть в западноберлинском институте социологии, чтобы оговорить график своих лекций и собеседований с коллегами по университету.

Это была его вторая поездка в западноберлинский институт социологии, и он, в общем-то, представлял себе программу. Он только не мог себе представить, что, когда самолет приземлится в Темпельгофе, и его встретят коллеги, и отвезут на завтрак, а потом поселят в респектабельном «Кайзере», и он получит у портье записочку от своего аспиранта из Болгарии Павла Кочева: «Профессор Максимыч, масса интересного материала, сегодня увижусь с сыном Дорнброка, может, задержусь на день-два, если хватит денег, позвоните на всякий случай ко мне в отель „Шеневальд“, мечтал бы вас повидать. Паша Кочев», и он позвонит Кочеву, и портье

ответит ему, что «господин Кочев теперь не живет здесь, поскольку он запросил политическое убежище и переехал в другое место», – вот этого он себе представить не мог.

– Вы не скажете, как мне позвонить господину Кочеву по его новому адресу? – спросил Исаев.

– Нам неизвестен его новый адрес.

– Кто может знать?

– Вероятно, редактор «Курира» Ленц – он печатал интервью господина Кочева.

Исаев даже головой затряс – так все это было дико и неожиданно. Он нашел телефон «Курира» и позвонил Ленцу.

– Нам неизвестен его адрес, – ответил Лены. – Если вам очень нужен господин Кочев, обратитесь в полицию, они знают...

В полиции Исаеву сообщили, что делом болгарского интеллектуала Кочева занимался майор Гельтофф, однако никто из его сотрудников не знал адреса, по которому ныне проживает господин Кочев.

Исаев поехал в полицейское управление: майор Гельтофф, сказали ему, сейчас здесь в связи со срочным расследованием обстоятельств гибели Дорнброка-сына, но беседовать с майором Исаев не стал, потому что он увидел его, идущего по коридору, и сразу же отвернулся к стене, ибо узнал в нем своего «коллегу по работе в ставке рейхсфюрера» оберштурмбанфюрера СС Холтоффа, который по заданию шефа гестапо Мюллера проводил весной сорок пятого года операцию против него, Исаева, известного в то время Холтоффу как штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

Исаев знал, что Шелленберг умер в пятьдесят четвертом; Айсман трудится в концерне Дорнброка. Единственный, кто исчез из поля зрения Исаева, был Холтофф.

Изменив голос, Исаев позвонил к майору из автомата.

– Право господина Кочева не открывать свой адрес, – отрезал майор, – он живет в демократической стране и пользуется гарантиями нашего законодательства. С кем я говорю?

– Со мной, – ответил Исаев и повесил трубку.

В тот же вечер Максим Максимович связался с профессором Штруббе, который отвечал за программу Исаева, и попросил внести коррективы для того, чтобы ближайшие три дня были у него совершенно свободными.

Назавтра Исаев посетил своего издателя, который третьим тиражом выпустил его монографию «Германия, апрель сорок пятого», и – впервые за все его поездки – не стал отказываться от предложенного гонорара. После этого он засел в библиотеке, пересмотрел гору литературы по математике и физике, сделал выписки из телефонных справочников Эссена, Киля и Гамбурга, связался по телефону с Мюнхеном и Франкфуртом и наконец нашел того, кого искал, – физика Рунге.

2

- Извините, что я к вам так поздно, доктор Рунге.
- Кто вы?
- Мое имя вам ничего не скажет, но дело у меня к вам крайне срочное. Они стояли в дверях. Хозяин заслонил дверь и не приглашал гостя войти.
- Я сейчас занят. Очень сожалею...
- Минута у вас найдется?
- Минута – да. Только вряд ли «крайне срочное дело» можно решить за минуту.
- Это лицо вам знакомо? – спросил Исаев, показав Рунге маленькую фотографию.
- Очень знакомый молодой человек...
- Ему сейчас пятьдесят шесть.
- У меня плохая память на лица.
- Кто с вами работал в концлагере Фленсбург?
- Холтофф?
- Так это Холтофф или нет?
- Да... Пожалуй что... Мне кажется, что он, но я боюсь ошибиться. Хотя нет, точно, это Холтофф.
- Теперь посмотрите на это фото.
- Тоже он. Так постарел... Неужели жив?
- Ну а если жив, тогда что?
- Покажите оба фото еще раз.
- Может быть, нам все же договорить у вас в доме?
- Прошу. – Рунге пропустил Исаева в комнаты.
- Вероятно, вы сначала спросите, знаю ли я адрес Холтоффа, и сразу позвоните в федеральную комиссию по охране конституции?
- Я ни о чем вас не спрошу.
- Все надоело?
- Просто мне надо кончить работу, которой я отдал последние десять лет, а если я обращусь к властям, меня начнут таскать по комиссиям, комитетам и подкомиссиям... Я прошел через все это. Допросы, очные ставки, свидетельские показания в суде, оправдание обвиняемых...
- Все-таки Кальтенбруннера повесили...
- А остальные? Где Бернцман? Зерлих? Айсман? Где они? Бернцман в земельном суде. Айсман у Дорнброка. Зерлих в МИДе...
- Вы пропустили Штирлица, господин Рунге.
- Штирлиц спас мне жизнь.
- Если бы война продлилась еще месяц и русские танки не вошли в Берлин, Холтофф бы вас прикончил, несмотря на все старания Штирлица.
- Вы хотите, чтобы я предпринял какие-то шаги?
- Да.
- Зачем это нужно вам, если я не хочу этого? Я, которого Холтофф мучил, кому он прижигал сигаретой кожу, кого он поил соленой водой? Зачем это нужно вам, если я этого не хочу?
- Зло не имеет права быть безнаказанным, господин Рунге.
- Он одинок?
- Пять лет назад у него родился внук.
- Наши внуки не виноваты в том, что было.

– Верно. В этом виноваты деды.

– Объявив войну, я принесу зло его жене, детям, внуку. Вы призываете меня к мести, а я против мести. Чем скорее мир забудет ужасы нацизма, тем лучше для мира. Надо забыть прошлое, ибо, если мы будем в нем, мы не сможем дать будущее детям.

– Забыть прошлое? Очень удобная позиция для негодяев.

– Вы у меня в доме... Я не имею чести знать вас, но просил бы выбирать точные формулировки.

– Я точен в выборе формулировок. Нас здесь никто не слышит, надеюсь?

Рунге ответил:

– Нас здесь никто не слышит, но мое время кончилось. Так что, – он поднялся, – всего вам хорошего. Ищите мстителей в других местах.

– Сядьте, господин Рунге. Я не собираюсь забывать прошлое. Я не забыл, какие вы писали показания в первые дни после ареста. Я не забыл, скольких людей вы ставили под удар своими показаниями. Я не забыл, как на допросах вы клялись в любви и верности фюреру.

– Штирлиц...

– И благодарите бога, что я не приобщал ваши доносы к делу, иначе вам было бы стыдно смотреть в глаза Нюрнбергскому трибуналу, где вы вели себя как мученик-антифашист. Я имею слабость к талантам, поэтому я изъясил из дела все ваши гадости и оставил лишь необходимые клятвы в лояльности. Благодарите бога и меня, Рунге, что по вашим доносам не посадили никого из ваших коллег. И прозрели вы не в тюремной камере. Вы прозрели, когда я отправил вас в спецотдел лагеря, в удобный коттедж. Вас поили кофе и кормили гуляшом, но на ваших глазах вешали людей, а там были талантливые люди, Рунге, очень талантливые люди. И не моя вина, что вас там начал пытать Холтофф, – тогда я уже не мог помешать ему...

– Штирлиц?!

– Штирлиц... Вы правы, я – Штирлиц.

Рунге отошел к окну. Он долго молчал, а потом повторил:

– Штирлиц...

Исаев усмехнулся:

– Штирлиц...

Рунге долго стоял возле окна и курил. Не оборачиваясь, он тихо сказал:

– Я напишу все, Штирлиц. Вам я готов написать все. Диктуйте.

– Нет... Господь с вами... Я пришел не для того, чтобы диктовать... Я пришел для того, чтобы вы не забывали... Я не хочу, чтобы Холтофф повторял с вашими внуками то, что он делал с вами...

3

– Доброе утро, могу я поговорить с майором Гельтоффом?

– Майор Гельтофф сейчас дома и просил не беспокоить его до одиннадцати.

– Пи-пи-пи...

«Стерва! – ругнулся Исаев. – То, что она не говорит обязательного „ауфвидерзеен“, сбивает меня с толку. Это от старых немцев. Все-таки тринадцать лет в Германии что-нибудь значат».

Исаев остановил такси:

– Вельмерсдорф, Руештрассе, семь.

Гельтофф жил на Гендельштрассе, но Исаев по привычке не назвал точного адреса. Первое время он и в Москве, когда ехал на такси, ловил себя на мысли, что называет Скатертный переулок вместо того, чтобы просить шофера отвезти его прямо на улицу Воровского.

От Руештрассе до Гендельштрассе было совсем недалеко – полкилометра, не больше. Исаев огляделся: улочка была пустынная и тихая; коттеджи за высокими металлическими заборами, много плюща, плакучие ивы вокруг маленьких озер, воркование голубей и звонкие голоса детишек.

«Улица хорошая, – отметил Исаев, – а вон та ограда с бетонным выступом как раз для меня. Я смогу посидеть, и он меня не увидит из своего дома. Когда он будет выезжать и остановится на улице, чтобы закрыть ворота гаража, я успею сесть к нему в машину».

Когда из ворот выехал БМВ-1700 и Холтофф пошел закрывать за собой ворота гаража, Исаев быстро поднялся и тут же снова сел – свело ногу. Он понял, что не успеет сесть в машину до того, как Холтофф вернется. Он успел открыть дверь БМВ одновременно с Холтоффом. Тот посмотрел на Исаева: сначала недоумевающе холодно, потом отвалился на спинку сиденья и, поблуднев, тихо спросил:

– Ты же мертв, Штирлиц... Зачем ты появился? Что тебе нужно от меня?

– Я рад, что ты сразу поставил точку над «i». Мне действительно кое-что от тебя нужно.

– Что?

– Хорошее начало... Молодец, Холтофф. Вон автомат. Позвони в газету к редактору Ленцу и пригласи его на дружескую беседу куда-нибудь в бар... Я после объясню, что меня будет интересовать.

4

– Добрый день, редактор Ленц.

– Здравствуйте, инспектор.

– Мое звание – майор.

– Да? Хорошо. Я это запомню.

После паузы Холтофф сказал:

– Мне пришлось пригласить вас в этот бар, потому что так будет лучше. Я не хочу лишнего шума... Вызов в полицию, официальные показания. Это всегда вызывает шум.

– Я не боюсь шума. Наоборот, я люблю шум. Он мне выгоден. Ведь я газетчик, майор Гельтофф.

– Значит, вы не хотите говорить со мной здесь?

Подумав, Ленц ответил:

– Я слушаю вас.

– Ваша газета – единственная, получившая интервью Павла Кочева. Меня интересует, кто из ваших сотрудников беседовал с ним? Когда это было? И где? Я обещаю вам, что это будет нашей общей тайной.

В бар зашли трое молодых ребят и девушка. Они заказали бутылку оранжада и сели к столику возле окна, разложив на нем учебники. Один из парней подошел к музыкальному автомату и бросил двадцатипфенниговую монету. Яростно загремели ливерпульские битлзы.

«Вот сволочи», – ругнулся Исаев, выключая диктофон, лежавший в левом кармане пиджака.

Откинувшись на спинку кресла, он напряженно прислушивался к разговору Холтоффа и Ленца.

– Итак, где, когда и кто из ваших сотрудников в последний раз видел болгарского ученого Кочева?

– Вы убеждены, что я обязан отвечать на этот вопрос?

– Хорошо. Давайте иначе. Пришлите ко мне того газетчика, который интервьюировал Кочева. Я обязуюсь не требовать у него данных о теперешнем местонахождении Кочева. Мне нужно показание – всего лишь. Показание под присягой. С такой моей просьбой вы не можете не согласиться.

– Мне не совсем понятен ваш интерес к этому Кочеву. В чем дело? Он преступил закон?

– Нет. Отнюдь. Просто я должен быть во всеоружии, когда им начнут интересоваться официальные инстанции... Наш сенат, боннская администрация...

– Давайте созвонимся сегодня вечером, а?

– В пять?

– В семь. В пять у меня самое горячее время с выпуском номера.

– Вы не ответили – пришлете вашего парня?

– У меня есть и женщины, занимающиеся журналистикой, – улыбнулся Ленц. – Я дал вам ответ, майор. Я буду звонить в семь часов. Всего хорошего.

В машине Исаев сказал:

– Поезжай к себе, Холтофф, и сразу же пусти за Ленцем хвост. И пусть сядут на его телефоны. Он приведет тебя к тому ответу, который я ищу. Хочу предупредить, что, если у тебя возникнет надобность в контакте с Айсманом и его людьми, ты поставишь себя в неудобное положение. Понимаешь? Я перестану тебе верить.

– Откуда ты знаешь про мои контакты с Айсманом? Ему нечего бояться – он прошел денацификацию.

– Я знаю, что он прошел денацификацию. Но ему есть чего бояться. Дорнброк, конечно, могучий человек, но не всемогущий – времена изменились, Холтофф...

5

В четверть восьмого Ленц передал майору Гельтоффу кинопленку об эмигрировавшем красном, которую он просил приобщить к делу как вещественное доказательство, снимающее «все и всяческие вопросы по поводу решения господина Кочева».

Холтофф привез эту пленку к себе домой и в гараже, дождавшись, пока стемнело, прокрутил ее Штирлицу через проектор, приспособив беленую стенку под экран.

... Вот веселый Паша Кочев выходит с красивой высокой девицей из кафе, вот он садится вместе с ней и еще двумя парнями в открытый автомобиль, вот они едут по городу; Паша выставил руку навстречу ветру, ловит его пальцами, это очень приятно – ловить ветер сжатыми пальцами; вот он подъезжает к пляжу, переодевается в кабине, купается с молодыми ребятами и девушкой, пьет виски из горлышка – бутылка идет по кругу, ай да веселая компания, ай да идиот Исаев, старый, доверчивый, отживший свое идиот, ай да Паша Кочев, аспирант профессора Исаева, ай да времечко пришло, когда Исаева обвел вокруг пальца мальчишка! При чем здесь мальчишка? Просто сам Исаев годен на свалку, как старая, отжившая рухлядь, как матрац с металлическими проржавелыми пружинами, ай да...

– Ну-ка давай прокрутим еще раз...

– Хватит, сколько можно? Теперь с этим все в порядке, Штирлиц. Зачем зря тратить время?

– Давай все сначала, говорю я тебе!

Он сидел теперь возле самого проекционного аппарата, пристроившись так, чтобы видеть на экране все детали.

«А зачем, собственно? Здесь все точно. Непонятно лишь одно: зачем надо было писать мне записку? Зачем? „Задержусь на пару дней...“ Если он дал себя снять, то почему не сказал при этом ни слова? Хочет быть чистеньким? Просто ушел, и все? Но он же не дурак, он умный парень, он понимает, что предательство остается предательством, независимо от того, кого предал – друга или незнакомого. На чем они могли его взять? Спойли? Ерунда, на этом ловят только трусливых болванов. Женщина? Времена теперь другие, теперь, слава богу, перестали бояться шантажа... Почти перестали, – машинально поправил себя Исаев. – Идиот, конечно, испугается, а мало-мальски думающий человек... Нет, на этом они его не могли подловить... Или – или... И случилось это на следующий день после его встречи с Дорнброком...»

– Стоп! – вдруг крикнул Исаев. – Останови аппарат!

«Какое было число на афише, мимо которой они ехали? Там было не то число, которое мне нужно! Вернее, там было то число, которое не нужно им, а очень нужно мне, – быстро думал Исаев. – Это точно. Если только я не ошибся; господи, только бы мне не ошибиться! Они проезжали на машине тумбу для расклейки объявлений. И там была афиша о каком-то концерте: „Сегодня, 19-го, в „Конгрессхалле...“ А он попросил убежища двадцать первого!“»

– Останови аппарат! Мотай назад, Холтофф. Там, где я скажу, останови! Дальше... Внимание... Стоп! Стоп!

«Сегодня... в „Конгрессхалле“ концерт Жака Делюка: Бах в новом изложении!» «Тебе всунули липу, Холтофф! – подумал Исаев. – Кочева никто не видел из газеты Ленца. Они врут тебе, Холтофф. Они подставляют тебя под удар, потому что это доказательство будет уже не их, а твоим доказательством. Не принимай эту ленту как доказательство, Холтофф. Сделай с нее пару копий, это обеспечит тебе безбедную старость, когда тебя выбросят в отставку. И ничего не говори Айсману и Ленцу. Попроси их сначала прокрутить это по телевидению. И все. А потом, скажешь ты, это будет приобщено к делу вместе с откликами печати. Ты понял, что они тебе подсовывали, Холтофф?» – думал Исаев, сидя в кресле.

– Ну что же, – сказал он наконец. – О'кей. Теперь мне все ясно. Попроси Ленца устроить завтра показ этой пленки по телевидению. Мальчик выбрал свободу, мальчик у нас весело живет и ездит купаться... В конце концов парень не обязан встречаться с теми, с кем он не хочет встречаться.

Исаев поднялся и сразу же опустился в кресло – снова свело ногу.

– Хотя, знаешь, Холтофф, все-такиними копию с этой ленты, и пусть она будет у меня.

Когда Холтофф уехал, Исаев взял такси и попросил шофера отвезти его к «Зоо» – оттуда два шага до «Европейского центра», а там на восьмом этаже редакция «Телеграфа». К этому изданию Исаев относился серьезно, а к ведущему обозревателю Гейнцу Кроне – особенно.

6

– Телевидение? Я прошу соединить меня с редакцией «Новостей»... Говорит Гейнц Кроне из «Телеграфа», добрый вечер. Только что вы передавали материал о сбежавшем красном. Я уже обратился в прокуратуру, ибо редактор Ленц комментировал заведомую фальшивку. Наши люди сейчас выедут к вам. Примите их, пожалуйста, и во избежание недоразумений дайте им возможность сделать заявление.

– Каких недоразумений?

– Мы обвиним вас в преступном сговоре с Ленцем, который предлагает нашим властям сфабрикованную с помощью телевидения фальшивку.

– Я приму ваших людей, господин Кроне.

Гейнц Кроне подмигнул Исаеву и спросил:

– Сколько я вам должен за сенсацию?

– Это мой подарок за вашу драку против Франца Йозефа Штрауса.

Они сидели на восьмом этаже громадной махины «Европейского центра» и напряженно смотрели на экран телевизора. Если все пойдет так, как задумал Исаев, то через несколько минут должно состояться повторное прокручивание материала, представленного Ленцем.

...Диктор, мотнув головой, поправил галстук и сказал:

– Дамы и господа, в программу наших вечерних передач вносится корректива. Газета «Телеграф» потребовала повторного показа кинокадров, посвященных пребыванию у нас красного интеллектуала Кочева, сбежавшего из-за «железного занавеса». Я хочу представить вам репортеров «Телеграфа» Франца Проста и Пауля Ритенберга. Пожалуйста.

– Мне нужен телефон, – сказал Ритенберг.

– И мне хотелось бы видеть рядом с нами редактора Ленца, – добавил Прост.

– Первая просьба выполнима, а вторая, увы, нет: редактор Ленц уехал из телецентра.

– Ну что ж... давайте еще раз просмотрим его материал, – сказал Ритенберг, – а мы прокомментируем его по-своему.

Замелькали кадры: Кочев смеется, Кочев пьет, Кочев плавает, Кочев едет в открытой гоночной машине к городу. Вот большой столб, на котором наклеено объявление «Сегодня... в „Конгрессхалле“ концерт Жака Делюка...».

– Стоп-кадр! – воскликнул Прост. – Дамы и господа, мы просим вас прослушать и посмотреть выступление редактора Ленца. Пожалуйста, включите запись на видео... – попросил Прост диктора.

Возникло лицо Ленца. Чуть усмехаясь, жестко и снисходительно, он говорил:

– Давайте позволим человеку быть свободным в своих поступках. Право каждого человека вести себя так, как ему представляется целесообразным и возможным. Вероятно, на наши учреждения оказывают давление из-за стены, выдвигая очередную версию о «похищении». А Кочев просто не хочет встречаться ни с кем, кроме тех, кто ему приятен. И это его право!

– Стоп-кадр! – воскликнул Ритенберг, и лицо Ленца замерло на экране.

– В этом месте, – продолжал Прост, – мы хотели бы задать редактору Ленцу лишь один вопрос: когда был снят этот материал о Кочеве?

– Он же сказал, – ответил Ритенберг, – что эти кадры сняты после того, как Кочев принял решение не возвращаться в Болгарию. То есть после двадцать первого...

– Я прошу операторов еще раз показать кадр проезда Кочева – тот самый, где мы прервали показ... Благодарю... Дамы и господа, я прошу вас самым внимательным образом посмотреть на эту тумбу для объявлений: «Сегодня, 19-го, в „Конгрессхалле“... Кочев запросил право убежища и исчез двадцать первого, ибо и двадцатого, и двадцать первого он переходил зональную границу. Это установлено. Эксперты прокуратуры и наши репортеры сейчас

находятся возле этой тумбы. Редактор Ленц может ведь сказать, что это объявление было на тумбе и двадцать третьего, и двадцать пятого, не так ли? – заметил Прост. – Пауль, соединишься с нашими коллегами. Я хочу, чтобы эксперт дал телезрителям ответ: наклеивались ли новые объявления на эту тумбу, когда и сколько? И если эксперт прокуратуры подтвердит, что на объявления от девятнадцатого наклеивались каждый день новые объявления в течение всей этой недели, мы потребуем привлечения Ленца к суду за диффамацию, ибо он утверждает, что показанные им кинокадры были сняты вчера по его просьбе.

– Это больше, чем диффамация, – возразил Ритенберг, набирая номер телефона, – это преступление, которое попадает под статьи уголовного кодекса.

В трубке, которую держал Ритенберг, захрипело, и донесся голос:

– Говорит эксперт Лоренц. Вернер Лоренц. На объявлении от девятнадцатого мы обнаружили еще семь наклеенных объявлений. Официальную справку я представлю в прокуратуру сегодня же. Каждый день наклеивалось новое объявление. Следовательно, съемки Кочева проводились девятнадцатого, то есть когда он еще не собирался просить убежища.

– У нас все, – изменившись в лице, сказал Прост, – мы благодарим руководство телевидения за ту помощь, которую оно оказало в разоблачении политической фальшивки.

Той же ночью редактор Ленц был арестован. На первом допросе, который проводил Гельтофф, он отказался давать какие-либо ответы в отсутствие адвоката и был препровожден в камеру предварительного заключения...

7

– Только что звонил Айсман. Он обеспокоен всем этим делом с Ленцем, Штирлиц. Он назначил мне встречу на завтра, с утра, – сказал Холтофф, приехав в маленькое кафе, где его ждал Максим Максимович.

– Он понимает, что ты был обязан арестовать Ленца?

– Я его должен выпустить под залог.

– Объясни, что тебе это делать невыгодно. Если ты его отпустишь, «Телеграф» заставит прокуратуру снова вернуть его в тюрьму. Объясни, что тебе выгодней держать Ленца в тюрьме, пока они выстроят для него надежную линию защиты.

– Штирлиц, мне трудно играть роль болвана. Понимаешь? Может быть, в сравнении с тобой я полный болван, но я должен понимать, хотя бы самую малость, в том, чего ты хочешь добиться всем этим делом.

– Я надеялся, что, быть может, ты хоть сейчас научишься думать, когда на карту поставлена твоя жизнь.

– При чем тут я? Семья, внук...

– Изживай сентиментальность, Холтофф, это всегда губило разведчиков. Если захочешь войти в блок с Айсманом, он меня постарается убрать, но если я буду убран, то – это уже по условиям моей игры – материалы Рунге против тебя будут немедленно опубликованы. И мое заявление о тебе – тоже... Так что ты должен не просто помогать мне в те дни, которые нам предстоит вместе прожить. Тебе еще придется оберегать меня от Айсмана.

8

Айсман встретился с Холтоффом рано утром.

Концерн выделил Айсману средства для найма конспиративных квартир – не только в Западном Берлине, но повсюду в Европе: там люди из «бюро Айсмана», ведавшего контрразведкой и «экономическим зондажем конкурентов», встречались с многочисленной агентурой. Холтофф, изменивший фамилию в конце войны, передал Айсману, который нашел его в сорок девятом году в полиции Эссена, всю свою агентуру, привлеченную им в свое время работать в гестапо. С тех пор они регулярно встречались на конспиративных квартирах Айсмана. Холтофф не был посвящен в святая святых концерна, но задания своего товарища по гестапо выполнял охотно, зная, что взамен той помощи, которую он оказывал, он получал незримую поддержку семьи Дорнброка.

– Милый Холтофф, – сказал Айсман, – кто-то играет против нас, и очень сильно играет.

– Ты преувеличиваешь. Просто вы плохо сделали материал для Ленца. Торопись придумать что-нибудь, потому что он уже начал плакать в камере, а это, как ты помнишь, плохой симптом.

– Скажи ему, чтобы он дал тебе вот какие показания... Этот киноматериал ему вручил Люс через своего помощника. Режиссер Люс... Тот самый Люс, который идет по делу Дорнброка... И снят он в его манере, этот материал, не правда ли? Резкий монтаж, свободный поиск вокруг главного героя; Кочев нигде не доминирует в кадре, он всюду проходит вторым планом. Ты поясни это Ленцу. Скажи ему, что этой версии он должен держаться до конца. Естественно, ты объяснишь ему, что после дачи этих показаний его немедленно освободят под залог, и он будет по-прежнему выпускать газету, и получит в придачу время на ТВ для сенсационного выступления. Материалы мы уже готовим...

– Почему ты думаешь, что против нас играют?

– Я ощущаю это кожей.

– Я бы с удовольствием избавился от этого дела.

– Ничего, – усмехнулся Айсман, – если мы с тобой выскочили из той передрыги, то из этой-то наверняка выберемся. Ты начни, ты начни только. А потом дело уйдет от тебя, и уйдет оно к Бергу, к этому паршивому демократу из прокуратуры.

9

«М-р Аверелл У. Мартенс,
бокс-4596, Иллинойс, США.

Уважаемый мистер Мартенс!

Сейчас в Западном Берлине прокурор Берг (профессор права Боннского университета, почетный профессор Сорбонны, рожден в Кенигсберге в 1903 году в семье теолога, социал-демократ) ведет расследование обстоятельств таинственной гибели Ганса Дорнброка, а также исчезновения болгарского гражданина – аспиранта Павла Кочева. Научным руководителем Кочева в течение его двухлетнего пребывания в аспирантуре был я. Именно я ориентировал его на исследование нацистского прошлого концерна Ф. Дорнброка. Именно я рекомендовал ему заняться изучением вопроса о неонацистских тенденциях в Западной Германии, о помощи неонацистам со стороны концерна Дорнброка, возрожденного в начале 50-х годов, несмотря на решения Потсдамской конференции.

Поэтому я готовлюсь к тому, чтобы выступить со свидетельскими показаниями против официальной версии, согласно которой П. Кочев «попросил политического убежища». Я еще не готов к тому, чтобы выступить со своей версией, однако опровержение очевидно несправедливого так же необходимо, как и утверждение справедливости.

Я был бы глубоко признателен Вам, мистер Мартенс, если бы Вы согласились помочь мне, ответив на ряд вопросов:

1. В 1945 – 1946 годах Вы являлись начальником отдела декартелизации в военной администрации. В связи с чем Вы оставили этот пост?

2. Вы обнаружили Дорнброка и, задержав его, передали британским оккупационным властям по месту его проживания. Судя по сообщениям печати, Вы также выявили еще несколько десятков нацистов – как «фюреров военной экономики», так и работников аппарата РСХА. Не приходилось ли Вам сталкиваться в ходе расследования с бывшими офицерами СД и СС Айсманом, Холтоффом, Вальтером Нозе и Куртом Гролле?

3. Подвергались ли Вы давлению со стороны людей, близких к германским картелям, во время Вашей работы в Германии?

Я был бы весьма Вам признателен за ответ.

С наилучшими пожеланиями
Максим М. Исаев (Владимиров),
профессор, СССР».

ДОРНБРОК ПРИ АДЕНАУЭРЕ

1

Через десять месяцев после смерти Самуэля служба разведки банковской корпорации Дигона положила на стол Барри документы, которые неопровержимо свидетельствовали о том, что крупнейшие корпорации Штатов направили в Германию своих представителей для контактов с теми, кто определял финансовое и промышленное могущество гитлеровского рейха.

Дигон попросил службу разведки перепроверить эти сообщения. Ему были названы источники информации, показаны копии перехваченных телеграмм и устроена тайная встреча с юрисконсультom одного из дюпоновских банков, который подтвердил поездку в Гамбург и Дюссельдорф своих доверенных людей.

Дигон отправился в Вашингтон: там он встретился с Алленом Даллесом.

– Мне понятен ваш гнев, – дружески улыбаясь, сказал Даллес, – но ведь не мне учить вас реализму: мир без Германии невозможен. Если будет вырезана элита промышленников и банкиров, там начнут царствовать нувориши, выходцы из мелких торговцев, из крестьян. Такие люди не в состоянии понимать прогресс, их тянет назад к очагу, к маленькому домику в горах, к мычанию коров в хлеве. Они будут противиться всему новому – не потому, что они против него, на словах они будут трубить о прогрессе, – просто в силу своей интеллектуальной ограниченности. Неужели вы хотите, чтобы Вильгельм Пик поглотил западные зоны? Что тогда будет с Европой?

– Германские бизнесмены шли с Гитлером. Где гарантия, что, сохранив эту «элиту», мы не окажемся вновь лицом к лицу с новым вариантом фюрера?

– Это серьезный вопрос, и он встанет на повестку дня, если мы выведем наши танки из Германии. А разве мы вправе сделать это, бросив на произвол судьбы Европу? Я бы советовал вам слетать туда: вы встретите там много интересных людей и столкнетесь с разными мнениями. Вам будет о чем подумать, мистер Дигон... Во имя спасения Европы я пошел на переговоры с Гиммлером, который казнил моих друзей – Гердлера и фельдмаршала Вичлебена... Я понимаю, узы кровного братства сильны и неизбежны, но, согласитесь, узы морального братства порой так же сильны и трагичны...

Когда Барри К. Дигон отправился в Европу, верховный комиссар американской зоны оккупации Германии предоставил в его распоряжение Джона Лорда. Полковник закончил Гарвард, прошел войну, будучи прикомандирован к разведке, три раза его забрасывали в немецкий тыл, и он возвращался – один раз с переломленной в локте рукой, которую, как ни бились врачи, пришлось ампутировать.

– Я ненавижу наци, – сказал как-то Лорд, когда они ехали с Дигоном по разрушенному Кельну, мимо заводских руин, безлюдных, исковерканных. – Но кто же вдохнет жизнь в эту страну? Кто? Мне больно говорить вам, но никто этого не сделает, кроме тех старичков, которые сидят в тюрьме как военные преступники...

– Значит, вы намерены спасти немецких бизнесменов? – поинтересовался Дигон. – Но ведь все они платили Гитлеру... Они были с наци...

– Они сумели наладить ему производство, и это было мощнейшее производство. А что будет с Европой, если мы выведем наши танки? Сталин через неделю войдет в Париж. Здешних стариков от бизнеса надо доить, и это должны делать мы, чтобы не повторилась ошибка Вудро Вильсона, когда мы ушли из Европы.

– Хотите чего-нибудь выпить?

– Стакан молока – с наслаждением.

– Вы бы не согласились вместе со мной поужинать?

– О'кей. Я знаю одно местечко, где можно поболтать. Как вы относитесь к айсбану?

– Лучше сразу же выстрелите мне в висок.

– Простите, я забыл, что вам нельзя есть свинину. Ладно, сделают крольчатину.

– Это здесь стоит, видно, громадных денег?

– Я одолжу вам, если не хватит! Почему все миллионеры такие страшные скупердяи?

– Я борюсь с собой, – в тон ему ответил Дигон, – но безуспешно. Знаете, у меня есть друг – Джаншегов. Он стоит примерно триста миллионов. Как-то лакей в ресторане – он там всегда ест котлетки – сказал ему: «Мистер Джаншегов, вы даете мне доллар на чаевые; спасибо, конечно, доллар – это доллар, но ваш сын дает мне не меньше десяти». А Джаншегов ему ответил: «Если бы у меня был отец, как у этого сукина сына, я бы давал вам двадцать...»

– В моих руках сконцентрирован такой материал, который позволяет подумать о будущем, точнее говоря – о собственном деле. А оно немыслимо без капиталовложений. Денег у меня нет, оклады в армии полунисщенские.

– Вы хотите, чтобы я помог вам? – спросил Дигон.

– Да.

– Я всегда довольно смело шел на финансирование всякого рода начинаний, порой рискованных, но я знал исходные данные: кто? зачем? степень риска? возможность удачи? И это, – он взглянул на Джона, – должно быть не эмоциональным подвижничеством, но цифровой выкладкой.

– Понимаю, – ответил Лорд. – Вам нужны гарантии. Их нет. Но у меня есть факты.

– А вам известен такой факт, – спросил Дигон, – что здесь, в Германии, до тридцать восьмого года у нас с братом был небольшой актив – что-то около сорока миллионов долларов? Деньги эти не бог весть какие, но ведь и такие деньги не лежат в мусорном ящике. Давайте будем считать гарантией следующее предложение: я приглашаю вас стать моим доверенным лицом в поисках этих денег. Мне известно лишь то, что все наши бумаги и вся наличность в дрезденском банке были переданы Дорнброку – убийце моего брата. Стоимость работы оцените сами...

Лорд отставил свой стакан с молоком, закурил и достал из кармана пачку маленьких, квадратной формы, тугих мелованных бумажек. Он прикрыл их рукой и сказал:

– Это немецкие картели, мистер Дигон. Связи, данные на сегодняшний день, имена. Я начну по порядку. Я хочу, чтобы вы поняли, отчего я пришел к вам с этим разговором. Итак начнем с «И. Г. Фарбениндустрii». Шефами «И. Г.» вы считали Абса и Шмица, и правильно делали. Я бы причислил сюда и Боша, но он неосторожно вошел в сорок втором году в имперский совет по делам вооружений. Шмиц и Бош сейчас у нас в тюрьме, в Ландсберге. Абса после трехмесячного ареста мы освободили: он ничего не подписывал, кроме банковских чеков, хотя на эти банковские чеки покупались станки для выработки газа «циклон». Но это так, сантименты... Так вот, Абс имел уже семь встреч – с людьми из Штатов и из Лондона. Дюпон прислал к нему своих людей. Уже два месяца здесь живет господин из нашей «Дженерал дайстаф корпорейшн», добиваясь свидания с Шмицем, который сидит у нас в Ландсберге... А Шмиц был директором германского филиала этой компании.

– Это все, что у вас есть?

– Это полпроцента того, что я имею.

– Связи, номера счетов, кредиторы?

– Это я храню в наших сейфах и стараюсь не подпускать туда людей ФБР, которым кто-то хорошо платит, – из тех, кто прилетел к Абсу. Словом, «И. Г. Фарбениндустрii», которую мы должны, – Джон поморщился, – декартелизировать, уже обложена со всех сторон, а немцы не забывают тех, кто протянул им руку помощи в трудные дни, как и не забывают тех, кто отвер-

нулся от них в трудную минуту; они не смогли забыть Версаль, и появился Гитлер... Далее... Концерн Маннесмана. Генеральный директор концерна Цанген у нас в тюрьме. Он был заместителем председателя имперской хозяйственной палаты и руководителем имперской группы «Промышленность», он также курировал группу вооружения. Он у нас в тюрьме, и к нему нашли подходы люди из Канады. Концерн Клекнера. Вокруг этого концерна вьется Аденауэр, и я не исключаю такой возможности, что его сын вскоре станет юрисконсультom Клекнера, а это будет значить, что англичане наложили лапу на все это дело в Рейнско-Вестфальской области. Крупп... «Дженерал электрик» уже здесь, и, пока мы держим сына старика Круппа Альфреда в Ландсберге, его братья Бертольд и Гарольд фон Болен ведут переговоры с нашими бизнесменами о разворачивании производства. Как вы понимаете, сейчас, когда немецкие старички сидят в наших тюрьмах, разговор с ними легок, приятен и весьма результативен в плане ваших интересов. Концерн Симменса – европейская ориентация, нашим туда не влезть... – Джон Лорд откинулся на спинку кресла и улыбочиво посмотрел на Дигона.

– Занятно, – сказал тот, – я рад, что приобрел такого интересного знакомого. Теперь я спокоен за судьбу моих сорока миллионов и могу улететь в Штаты...

Лорд закурил.

«Смелее, парень, – подумал Дигон. – Я знаю, почему ты ничего не сказал о концерне Дорнброка. Если ты скажешь о нем все, значит, с тобой надо иметь дело, но если ты, зная о гибели Самуэля, промолчишь, значит, тебе еще рано включаться в серьезное дело. А подчинив себе Дорнброка, я отомщу за брата и получу ту власть в Германии, которая будет служить нашему с Самуэлем делу».

– Крольчатину они хорошо готовят, – сказал Дигон, обсосав ножку, – я всегда оставляю на конец разговора вкусный кусочек. Если разговор был неудачным, я заедаю досаду, если он был нужным, я подкрепляюсь перед началом дела...

– О концерне Геринга, вероятно, нет смысла говорить, – отхлебнув молока из высокого стакана, заметил Джон Лорд, – это дело обреченное, Геринг есть Геринг... Ну а Дорнброк есть Дорнброк.

Дигон молчал, он не говорил ни слова, неторопливо потягивая холодную воду: американцы быстро приучили немцев во всех ресторанах подавать к обеду воду со льдом...

– Сколько ему дадут? – спросил Дигон. – Или все-таки повесят?

– Я бы не стал вешать солдат, которые выполняли приказы своего командира, – заметил Лорд. – Дорнброк – единственный, кто не имеет широких связей с деловым миром за рубежом, он всегда ориентировался лишь на Германию.

– А сколько он выкачал из оккупированных стран? – поинтересовался Дигон. – Или это сейчас не в счет?

– Отчего же, – ответил Джон Лорд. – Это в счет, конечно. Если хотите, можете дать на него письменные показания в связи с гибелью вашего брата. Я приобщу эти показания к делу, и они хорошо прозвучат на процессе.

– В таком случае я бы просил вас ознакомить меня с расследованием по поводу гибели Самуэля.

– Попробуем, – ответил Лорд, – только стоит ли бередить незажившие раны?..

Они молча смотрели друг на друга – Дорнброк и Дигон. Дигону показалось, что он сейчас слышит, как в жилетном кармане тикают большие карманные часы – подарок Самуэля ко дню его двадцатилетия.

– Садитесь, пожалуйста, – сказал Дорнброк, указав рукой на круглый металлический табурет.

– Это я говорю вам – садитесь. Садитесь, Дорнброк.

– В таком тоне разговор у нас не пойдет.

– Он пойдет именно в таком тоне. Я пришел к вам как к убийце моего брата.

«Все-таки невоспитанность – несчастье американцев, – подумал Дорнброк, садясь на свою железную койку, – и винить их в этом нельзя. Это то же, что винить бедняка в бедности».

– Какие у вас основания считать меня убийцей вашего брата?

– Если бы у меня этих оснований не было, я бы не говорил с вами так.

– Прежде чем я попрошу охрану прекратить ваш визит, запомните, пожалуйста, господин Дигон, номер счета в лозаннском банке на ваши сорок три миллиона долларов – я перевел их туда на имя Самуэля К. Дигона: 78552.

– Я бы приплатил вам еще сорок три миллиона, если бы вы тогда спасли жизнь Самуэлю.

– Вы не знали, что такое нацизм. Угодно ли вам выслушать, какую роль сыграл я в этой трагедии?

– Значит, вы сыграли роль в этой трагедии?!

– Гейдрих – вам говорит что-нибудь это имя?

– Да. Это начальник вашей тайной полиции.

– Он вызвал меня и попросил поехать на дачу, где содержался ваш брат. «Вы ведь знакомы с ним?» – спросил он. «Да, – ответил я. – Не коротко, мы имели несколько дел в двадцать седьмом году». – «Уговорите его согласиться с той версией, которая предложена Эйхманом, и мы отпустим его в Америку. Если он пообещает молчать в Штатах о том, как его обрабатывали, но не сдержит своего слова, тогда мы покажем вам, как у нас обрабатывают на Принц-Альбрехтштрассе». – «Я не хочу быть негодяем, обергруппенфюрер. Я хочу, чтобы вы дали мне слово германца: если Дигон будет молчать о том, как его мучили, вы отпустите его». – «Я даю вам такое слово». И я приехал к Самуэлю, и он сказал мне, что ему предлагает Эйхман. «Но я вернусь домой, – сказал он, – и там расскажу все, мой друг, все!» – «Это погубит меня здесь, – сказал я ему, – я выступаю гарантом за вас перед властями». – «Что они могут без вас? – спросил он. – Что? Вы даете им те мощности, которыми они угрожают миру. Ну выступите на пресс-конференции и скажите, что я, подлый еврей, обманул вас и что все сказанное банкиром – ложь и клевета на рейх». Я не хочу лгать вам, господин Дигон, я уговаривал Самуэля не делать этого, не ставить меня под удар. Он был неумолим. В конце концов мы сговорились на том, что он, вырвавшись из Германии, обрушится на меня с нападкамии как на пособника нацистов, как на их адвоката и таким образом оградит меня от кар гестапо. Назавтра меня вызвал Гейдрих и сказал, что моя запись беседы с Дигоном у него на столе. И он дал мне послушать эту беседу. Я виноват в глупости, в доверчивой глупости, но больше я ни в чем не виноват. А потом Гейдрих напечатал в газетах, что мне передаются деньги «еврейского банкира Дигона». Теперь вы вправе вынести свой приговор.

Дигон даже зажмурился от ненависти. Он сжал кулаки, чтобы не дрожали пальцы. «Ты будешь отмщен, брат, – сказал он себе, – я брошу этого наци под ноги, как на закланье... Ты будешь отмщен, Самуэль...»

– Что ж, эта версия точно учитывает всю механику вашего проклятого государства... Вы очень страшный человек, Дорнброк... Все дело брата хранится у меня в фотокопии. И даже сообщение службы наблюдения, почему запись беседы прекращена. Вы тогда вместе с Самуэлем вышли из комнаты, опасаясь прослушивающих аппаратов. Не так ли? А вот ваш разговор с Эйхманом у меня есть.

– Это фальшивка Гейдриха.

– Есть показания охранника и врача.

– Это люди гестапо.

Дигон поднялся с табурета, подошел к Дорнброку и ударил его кулаком в лицо. Потом он свалил его на пол и начал топтать ногами. Это была страшная сцена: седой, высокий, как жердь, Дорнброк лежал на полу, а маленький, багровый, в слезах Дигон, сопя, топтал его ногами.

А потом, обессилив, он опустился на цементный пол рядом с Дорнброком. Тот поднял окровавленное лицо и положил руку с разбитыми пальцами на плечо Дигона.

– Только не кричите, – шепнул он. – Может услышать охрана, только не кричите...

Назавтра Дигон заключил с Дорнброком секретное соглашение о начале аналитических разработок урановых руд в Фихтельгебиргере. На текущий счет той фирмы, которая занялась выполнением работ в Фихтельгебиргере, лозаннский банк перевел долгосрочный заем в размере сорока четырех миллионов двадцати шести тысяч долларов. Один миллион двадцать шесть тысяч долларов были процентами, которые успели нарасти после смерти Самуэля К. Дигона. Дорнброк внес в это предприятие сто миллионов долларов через подставных лиц. Это были те деньги, которые он получил от союзников, уплативших ему компенсацию за отчуждение всех металлургических заводов и угольных копей концерна...

Дорнброк после этого целую неделю не поднимался с кровати. Он лежал, отвернувшись к стене, и медленно рассматривал пупырышки и линии, оставшиеся после большой жесткой кисти: здесь каждый месяц красили камеры в серый, мертвенный цвет блестящей, жирной масляной краской. Иногда он начинал лениво считать пупырышки, но сбивался на второй сотне, а линии, оставшиеся после кисти, были размытые, не резкие, их он поэтому не считал, хотя ему очень хотелось вывести какую-то закономерность в соседстве точек и протяжении прямых.

«Бог мой, как все это ужасно, – думал он, тяжело переворачиваясь на спину. – Зачем все это? Зачем такая гадость? Есть ли предел допустимого в моей религии дела? Я бы мог закричать тогда, и стражники арестовали бы этого борова, и он бы сел на скамью подсудимых. Мою вину надо еще доказывать, его вина была очевидной».

Он не мог спать даже после того, как тюремный врач принес ему успокаивающее лекарство. По ночам он лежал, запрокинув худые длинные руки за голову, и мечтал об одном – заплакать. Заплакать, как в детстве, чтобы в душе наступило сонливое спокойствие и блаженная тишина.

«Помоги мне заплакать, боже, – молил Дорнброк, – помоги мне выплакать горе». Но заплакать он так и не смог ни разу.

Он впервые поднялся, когда ему сказали, что разрешено свидание с сыном. Он побрился, сделал тщательный массаж лица, чтобы не было видно, как запали щеки и прорезались морщинки возле ушей. Он вышел к Гансу улыбающийся, спокойный и сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.